

К 725519

с. 27

Рс  
к 93



**П. КУРАКИН**

**ЯКОВ  
КУРБАТОВ**

**П. КУРАКИН**

**ЯКОВ  
КУРБАТОВ**

**Л Е Н И Н З Д А Т • 1 9 7 2**

Петр Григорьевич Куракин принадлежит к поколению первых комсомольцев. Он был работником партийного аппарата, руководителем производственного предприятия, в годы Великой Отечественной войны сражался на фронте и был тяжело ранен.

Большой жизненный опыт, богатый запас наблюдений помогли ему создать произведение о жизни его современника в годы революции и в 20-е годы — «Жизнь побеждает» (1957).

Переработанное издание повести под названием «Яков Курбатов» вышло в 1968 году.

# Часть первая

## I

Городская окраина напоминала деревню: те же рубленые избы, колодцы с «журавлями», ограды палисадников, тот же сладковатый, с малых лет знакомый Яшке запах свежего хлеба и парного молока. Быть может, поэтому он и любил тихую Духовскую улицу, заросшую по краям огромными, серыми от дорожной пыли лопухами, и всякий раз терялся, попадая на шумную базарную площадь или в вокзальную толчею.

Здесь, на Духовской, всегда было спокойно, и жизнь, казалось, текла неторопливо, не изменяясь в своем течении. Разве что подгулявшие мастеровые заведут поздним вечером нестройную песню, переполюшат ею слободских псов — и снова тишина, снова слышно, как далеко-далеко, на другом конце города, перекликаются маневровые паровозы.

Яшка жил у дяди уже второй год и вспоминал о матери только тогда, когда тетка говорила:

— Неужто кусок не дерет тебе рта? Кукушка мать у тебя...

После таких слов Яшка долго не мог уснуть: лежа в углу на своем сеннике, всматривался в темноту,

слушал, как за стеной, в хлеву, тяжело ворочается и вздыхает хозяйская корова, и думал, что ведь не убежишь... Некуда.

Дядя Коля — брат матери — работал в депо машинистом. Длинный, немного сутулый, будто стесняющийся своего роста, с огромными, похожими на грабли руками, он по-своему любил и по-своему жалел Яшку. И когда Аннушка принималась ворчать, он только подмигивал племяннику: мол, не слушай ты ее, вздорную бабу. Аннушка и на самом деле была вздорной. Иногда Яшка даже просыпался по ночам от ее неприятного голоса:

— Где ты все шляешься? Погубить нас хочешь, ирод? Куда я с двумя ребятами денусь? У, аспид!..

Дядя отмалчивался, хмурился, но когда жена особенно расходилась, пытался успокоить ее:

— Да чего кричишь-то? Ну, посидел с товарищами, поговорил... Так за это что, в тюрьму посадят?

Но ни успокоить, ни уговорить Аннушку было невозможно. Поэтому дядя, махнув рукой, шел спать. Но еще долго слышались громкие теткинны всхлипывания и злые слова.

Раз в месяц дядя, тишайший человек, запивал, и хотя в слободе пили все, часто и помногу, но так люто — никто. Дядя пил все: денатурат, политуру, одеколон — лишь бы пахло спиртом. Во хмелю он был буен. Правда, не дрался, не избивал жену, как другие, но зато ломал и рвал все, что попадалось под руку. Потом отходил и начинал ругаться: ругал знакомых, начальство, царя, и присмирившая Аннушка сидела на лавке, беспомощно сложив на коленях больные от вечной стирки руки. Сидела молча, только просила шепотом:

— Тише ты, родненький... Тише про царя-то...

Единственной радостью Яшки были друзья. Здесь, на Духовской, жили такие же ребята, как и он сам, — чумазые, сытые только по праздникам и, быть может, потому особенно близкие и понятные. Временами на улице раздавался пронзительный тройной свист, и Яшка, чем бы он ни был занят, бросал все: три свистка — бой с «екатерининцами».

На соседней, мощенной булыжником Екатерининской улице, где вечерами зажигались фонари, жил

разный, но по большей части богатый народ. Ватагу ребят с Екатерининской возглавлял сын пристава — Генка. Щеголеватый гимназист, он первым выходил на Духовскую и, раскручивая над головой лакированный ремень с пряжкой, кричал:

— Эй, золоторотцы! Идите, вымоем.

Если попадало «духовчанам», Генка ликовал. Но когда побитыми оказывались «екатерининцы», на Духовской появлялся пристав, Генкин отец. Заходил он и к дяде Коле, грозя штрафами «за щенка». Это давало Аннушке повод сказать лишний раз о куске хлеба и о том, что мать у Яшки — кукушка.

Но к осени у ребят с Духовской появились совсем другие дела.

Там, где дорога, выбравшись из слободы, пересекала поле и сворачивала к лесу, на скорую руку были выстроены длинные, серые, с крохотными оконцами бараки. Никто не знал, зачем они здесь появились и почему натянута на кольях колючая проволока. Лишь когда в один из ненастных дней прошла по Духовской колонна грязных, измученных людей в куцых серо-зеленых шинелях, все поняли: лагерь. Пленные шли мимо молчаливых жителей слободы пряча глаза и боязливо оборачиваясь. Толпа ребятешек бежала за ними, не обращая внимания на окрики старших. Женщины, проводив взглядом пленных, вытирали слезы.

Не прошло и недели, как мальчишки, осмелев, уже подбирались к лагерю. В воскресенье пленные не работали, и из барачков доносились грустные песни. Яшка прислушивался к незнакомым словам и говорил Пашке Залевину:

— Давай подойдем поближе?

— Боязно. Поймают — бить будут...

Но все-таки знакомство состоялось.

С обеих сторон забора, выстроенного позади барачков, рос мелкий кустарник. Здесь ребята и проделали лаз. Пленные германцы оказались не такими уж страшными, как об этом говорили. Некоторые из них искусно плели из конского волоса кольца, браслеты и сережки, украшенные бисером, которые ребята сбывали в слободке. А один даже сплел стек — мальчишки продали его за три рубля сыну купца Свешникова.

Новое знакомство было для Яшки первым толчком для раздумий. Однако чем дольше он размышлял, тем больше запутывался.

Вот, например, Франц. Он часто показывал ребятам памятную фотографию: на темном фоне две кудрявые, ясноглазые детские головки.

— Клеба, клеба им нато! А пап ин руссиш плен. Ирма, Марта — кушать ньет...

Он прятал фотографию и неожиданно уходил в барак, не оборачиваясь. Дома, в постели, Яшка думал: «Зачем война? За веру, царя и отечество. А зачем же тогда надо всем воевать? Раз за веру, собрались бы все попы и монахи с одной и другой стороны и подрались бы. Чья возьмет — того и вера будет. Раз за царя — вышли бы Вильгельм и Николай со своими министрами да подрались бы на кулачках. Кто кого положит, тот и будет главным царем. А вот за отечество?..» Здесь он путался окончательно.

Однажды, когда Аннушки не было дома, Яшка, не выдержав, спросил о войне у дяди. Тот, внимательно поглядев на племянника, неожиданно прижал его к куртке, пахнувшей коксом, и сказал:

— Мал ты еще, брат, не поймешь... Ведь и отечество бывает разное. Вырастешь — узнаешь...

Знакомство с пленными оказалось для Яшки не только источником раздумий.

Конский волос они доставали для германцев у извозчиков. Как-то раз трое из ребят, в том числе и Яшка, шли из лагеря продавать браслеты, сделанные пленными. Возле чайной они увидели несколько пролеток. Лошади лениво помахивали длинными блестящими хвостами. Извозчиков не было, они пили чай. Недолго думая, ребята вытащили складные ножи и начали резать хвосты. Вдруг раздался вопль Мишки Косолапова:

— Ой, дяденька! Отпусти, больше не буду!

Здоровенный извозчик держал его за ухо. Через секунду и Яшка и Пашка Залевин тоже бились в сильных руках. Все трое очутились в полицейском участке. Сквозь слезы Яшка не сразу разглядел, кто стоит перед ним, и вздрогнул, когда откуда-то сверху раздался знакомый голос Генкиного отца:

— Ну, подлецы, что это вы вздумали лошадям хвосты портить? Зачем, голодранцы, резали, ну?

Пристав ударил кулаком по столу:

— Что молчите, золоторотцы? Ну-ка, покажите им, как цыганы пашут!

Невысокий, коренастый городской вразвалку подошел к Залевину и провел большим пальцем по его стриженной голове против волоса. Пашка закричал.

— Посмотрите, что там у них в карманах, — приказал пристав. — Давай все сюда.

И посыпались на стол самодельные кольца, браслеты, серьги...

Пристав повертел их в руках и, отойдя к окну, деланно зевнул:

— Значит, с врагами отечества водитесь? Так...

«Откуда он знает?» — тревожно подумал Яшка.

А пристав, не меняя позы, величественный в своем серо-голубом мундире, говорил тихим, даже, пожалуй, ласковым голосом:

— Научил вас кто-нибудь, а? Да вы не бойтесь, рассказывайте. Или хотите, я сам вам все расскажу? Плеточку за три рубля продали? А третьего дня еще на три рубля восемь гривен наторговали. Пять фунтов воблы снесли врагам веры нашей...

«Знает, — тоскливо мелькнуло в Яшкиной голове. — Все знает...»

Пристав, словно наслаждаясь растерянностью ребят, продолжал перечислять их дела с такой точностью, что Яшка, подавив в себе страх, покосился на всхлипывающего Пашку: не он ли сказал? Нет, не он, иначе ему не показали бы «цыгана».

— Ну? — веселился пристав. — Может, теперь скажете, кто научил?

— Сами мы пошли, — буркнул Яшка.

— Ах, сами? — И он ударил Яшку. Тот упал.

Голос пристава гремел сверху:

— Марш отсюда! Брысь! Я еще покажу вам, чертово семя!

Все трое, толкая друг друга, выскочили из дверей и очутились на улице. И тут Залевин схватил Яшку за рукав:

— Гляди!

Небрежно сдвинув на затылок фуражку, заложив ногу за ногу, возле забора стоял Генка. Улыбаясь и щуря зеленоватые глаза, он глядел на ребят так же, как и его отец. Яшка вспомнил, что как-то случайно

сказал ему о знакомстве с пленными. Все стало ясно: «продал» их Генка.

— Ух, паскуда, доносчик! Подожди, еще рассчитаемся с тобой!..

Генка только презрительно сплюнул.

А через три дня в класс вошли несколько учителей и отец Николай — преподаватель закона божьего. Ученики поднялись, гремя крышками парт, и застыли: каждый думал, не его ли сейчас вытащат к стене в царапинах, оставленных многими поколениями наказанных.

Однако никого не вызвали. Взойдя на кафедру, отец Николай поднял руки. Что он говорил — Яшка позже так и не мог вспомнить: что-то о богоотступниках, «об отечестве не радеющих», и о каре земной и небесной. Как сквозь туман, донеслись до него слова:

— Иаков Курбатов, признаешь ли ты, что, богоотступничая, презрел и власть божию на земле и отечество свое?

— Отечество бывает разное, — вырвалось у Яшки.

— Что-о? Вон! Вон!

Его схватили за ухо, толкнули в спину. Очнулся он тогда, когда кто-то крикнул: «Можешь больше не приходиться!» — и классная дверь захлопнулась за ним, задребезжав стеклами.

Яшка пошел по длинному пустому коридору. Минувя учительскую, он увидел аккуратно стоявшие у стены поповские боты с блестящими застежками. Яшка нащупал в кармане гвоздики и, зайдя в пустую комнату, быстро прибил боты к полу мраморным пресс-папье. Потом, взяв со стола чернильницу, кинул ее в ненавистные боты...

## 2

В нескольких десятках верст от губернского города, на берегу быстрой и неширокой речки, за пять лет до войны вырос целлюлозный завод. Строил его предприимчивый петербургский капиталист Печаткин. Но когда началась война, Печаткин — разумеется, за немалую мзду — добился от казны постоянных заказов на снаряды и начал возводить корпуса артиллерий-

ского завода. Цехи строились быстро и наспех. Рядом с ними точно так же вырастали бараки для рабочих. Срочно была проложена однокорейка, и первый состав осторожно и долго полз от города до нового завода, везя семьи рабочих. Не прошло и нескольких месяцев, как большой, все время разрастающийся поселок уже стали называть Печаткино.

На печаткинском заводе работала Яшкина мать. Туда, удрав от дяди, ехал сейчас и Яшка. Все его имущество уместилось в небольшом узелке: штаны и пара рубашек, книги и коньки «нурмес», купленные матерью на прошлое рождество.

Он ехал, еще не представляя себе, что скажет ей. Сознаться, что его выгнали из школы, было страшно: мать, конечно, расстроится. Можно наврать, что, например, начался тиф и школьников распустили. Но Яшка знал, что лгать матери нельзя, нехорошо это. Подъезжая к поселку, Яшка так ничего и не придумал. Он лежал на полке, подложив узелок под голову, и слушал незнакомую, плавную речь попутчиков: это были эстонцы, завербованные на завод.

Поздней ночью, уставший, продрогший, он разыскал барак, где жила мать. Какая-то женщина провела его по узкому коридору, ощупью нашла дверь и впахнула в темную комнату. Яшка стоял, пытаясь рассмотреть что-нибудь, но так ничего и не увидел, лишь услышал прерывистое дыхание спящих людей.

— Мама, — тихо позвал он.

Кто-то заворочался и выдохнул неразборчивые слова. Яшка снова позвал мать.

— Что? — донеслось испуганно. — Кто это?

— Это я, Яшка...

— Яшенька!

Теплые руки схватили его. Мать гладила Яшку по лицу и шептала ему в самое ухо:

— Господи, как же так?.. Что случилось, господи?.. Почему ты приехал?..

Яшка всхлипнул. Сбивчиво, глотая слова, стал рассказывать ей все — и про пленных германцев, и про Генку, и про то, как его бил пристав. Мать, не разобрав и половины, вытерла ему жесткой ладонью слезы и начала расстегивать куртку.

— Ладно, бог с ней, со школой. Ложись, усни, сынок... Завтра договорим. Ах ты, господи, господи!

В Печаткине школы не было, и для Яшки начались скучные, долгие дни, похожие один на другой. В первое время он еще бродил по незнакомому поселку и присматривался: его поражали огромные цехи артиллерийского завода, он подолгу стоял и смотрел на лесотаску, по которой непрерывно двигались дрова для кочегарки. А потом и ходить стало некуда. Хорошо, что он хоть захватил с собой несколько интересных книг.

Все чаще и чаще вспоминал Яшка губернский город, где можно было отправиться на каток или в кинематограф «Аполло», посмотреть в заезжем балагане говорящих кукол...

Как-то мать, вернувшись с работы, сказала:

— Ну, сынок, хочешь завтра побывать в моем цехе?

Яшка, конечно, хотел. Утром он встал вместе с матерью и, прислушиваясь, как разливается за окном низкий заводской гудок, торопливо глотал хлеб с луком.

Но цех, где мать работала браковщицей, не произвел на Яшку особого впечатления. Здесь делали донца для шестидюймовых снарядов. Из кузнечно-прессовой мастерской сюда поступала заготовка, на токарных станках с нее снимали излишек металла и нарезали резьбу. Готовые донца мать сдавала в кладовую.

В перерыв к ней подошел какой-то рабочий и, вытирая измазанные в масле руки, спросил, кивнув на Яшку:

— Твой, что ли?

— Мой.

— Вот он, значит, какой... Ты сегодня с ним придешь? — И, не дожидаясь ответа, спросил уже Яшку: — Что, брат, интересно? Хочешь на завод?

Яшка не ответил. За него ответила мать:

— Мал он еще, Павел Титович. Двенадцати нет ему. Не примут, да и жалко.

Павел Титович подмигнул Яшке и улыбнулся, открыв крупные белые зубы:

— Ничего, крепче будет. Так ты, Настя, значит, к восьми приходи...

Вечером они пошли к Алешиным — на именины. Те занимали отдельный домик, сделанный, как и все дома в поселке, на живую нитку. Но зато здесь жила

вся семья. Старик, Тит Титович Алешин, согласился приехать сюда из Питера, заранее договорившись с вербовщиком, что семью не рассует по баракам. Старик имел золотые руки, и администрация согласилась.

У Тита Титовича было три сына: Павел работал на заводе, средний — Михаил — был сейчас в действующей армии. До этого он работал в Питере, у Лесснера, был связан с подпольной большевистской организацией, и его уволили с завода в самом начале войны «по подозрению». Младшему — Алексею — шел всего двадцатый год, но это не мешало ему быть хорошим токарем. Любил он погулять, потанцевать, одеться, «покрутить» с девушками, выпить по случаю в компании.

Всего этого, конечно, Яшка не знал. Не знал он и того, что Павел Титович, овдовевший лет шесть назад, ухаживает сейчас за его матерью. Он впервые в жизни шел на именины, волновался и часто посматривал на мать: а как она — спокойна или тоже волнуется? Но не мог понять.

Гости уже собрались. Справлялись именины дочери Павла Титовича — Клавы, и пришли в основном ее подружки. Клава была старше Яшки на год. Их познакомили, и парнишка, протянув руку, буркнул:

— Яшка.

Та прыснула:

— А по отчеству как?

Он совсем смутился, но выручила бабка Марфа, прикрикнувшая на внучку:

— Цыц ты, насмешница!

Все сели за стол. Подали горячий пирог с палтусом и другой — со свининой. На столе стояла разная закуска, бутылки с самогоном. Марфа Ильинична сварила пиво и брагу. Все выпили. Яшке тоже налили маленькую рюмку самогона. Когда он хлебнул этой бесцветной, мутной жидкости, у него перехватило горло, и, закашлявшись, он выскочил из-за стола. Бабушка Марфа заругалась, ткнула Павла Титовича в затылок:

— Что ты, бесстыжий, делаешь! Не видишь — ребенок еще. Ух, ума-то у тебя!

— Ребенок? — Павел Титович захохотал. — Он скоро рабочим будет, а ты говоришь — ребенок!

За столом вскоре стало весело, глаза у всех заблестели, языки развязались. Потом спели «Варяга», а Павел Титович подыгрывал на гитаре.

— Ладно, взрослым хватит, — заворчал старик Алешин. — Пускай теперь дети повеселятся, именины-то вроде бы не наши...

Взрослые перешли в другую комнату. Дядя Леша играл ребятам на гармошке, и девочки учили Яшку танцевать вальс. Сперва ничего не выходило — он то и дело наступал партнершам на ноги. А когда начало что-то получаться, все уже устали. Тит Титович крикнул:

— А ну, кто лучше споет или стишок расскажет?

Петь Яшка не умел, а стихи любил и знал их множество. Не дожидаясь, пока кто-нибудь начнет, он встал и, протянув вверх руку, как это делал учитель словесности, прочитал первые строчки:

Ликует буйный Рим... торжественно гремит  
Рукоплесканьями широкая арена.

А он — пронзенный в грудь, — безмолвно он лежит,  
Во прахе и крови скользят его колена...

И без того звонкий голос Яшки звенел: он переживал каждое слово, ясно представляя себе и буйный Рим, и широкую арену, и полуобнаженного, залитого кровью человека.

Прости, развратный Рим, — прости, о край родной...

Все захлопали, а бабушка Марфа вытерла платком заплаканные глаза. Яшку попросили прочитать еще что-нибудь, и он вспомнил стихи, напечатанные в губернской газете. Они были о войне. Это сейчас волновало всех.

От крепких твердынь Перемышля,  
С далеких австрийских полей  
Бедняга солдат утомленный  
Плетется к деревне своей.  
По прихоти баловня ветра  
Рукав его хлещет в лицо.  
— А, чтоб тебя мухи заели,  
Казенное треплешь добро!..

Дальше в стихотворении говорилось, как солдат подошел к своей родной деревне, но никто не выбежал встречать калеку:

— Соседушки, братцы, скажите,  
К чему этот весь маскарад?  
Где мать, дорогая супруга,  
Сестра и единственный брат?  
— Жену твою некий проезжий  
В столицу увлек за собой,  
А мать твоя бедная с горя  
В могилу сошла на покой.  
Сестра твоя там, в лазарете:  
У коек дежурит, не спит,  
А брат твой, лихой доброволец,  
В бою под Варшавой убит.

Всех почему-то растрогали эти не очень-то грамотные стихи.

— Молодец у тебя сын, Настасья, — сказал скупой на похвалы Тит Титович. — Его бы дальше учить надо. Может, адвокатом будет.

«Адвокат» для Тита Титовича был самый высокий чин. Как-то ему довелось попасть в Питере на открытое заседание суда, где с защитительной речью выступал знаменитый Плевако. С той поры, если Тит Титович желал кому-либо добра, он обязательно определял его в адвокаты.

Вскоре все стали собираться по домам. Бабушка Марфа подтолкнула именинницу к Яшке:

— Поцелуйся с Яшей. Видишь, какой он молодец, как нас стихами уважил!

Клава спокойно потянулась к мальчику, но он выскочил в прихожую, схватил свое пальтецо и в одной рубашке выбежал на улицу. Мать, выйдя вслед за ним, недовольно сказала:

— Ну, кавалер хороший, что ж это ты? Обидел Клавачку-то. Отчего не поцеловался?

— Больно надо с девчонками целоваться, — проворчал Яшка. — Я с ними никогда целоваться не буду.

— Это почему же? Чем они тебе досадили?

Расстроенный, он не заметил, как мать улыбнулась, едва расслышал, что она еще сказала:

— ...Павел Титыч к мастеру обещал зайти... Поговорить насчет тебя...

### 3

Здесь, в Печаткине, все было иначе, чем в губернском городе. И в этих однообразных рубленых домах и в самих людях Яшке виделись следы растерянной

спешки: все они куда-то торопились, почему-то все время хмурились, и Яшка угадывал за этим какой-то незнакомый, враждебный ему ритм жизни, которому должны были подчиняться все.

Там, в городе, откуда он приехал, на окраине тоже жила беднота: швеи, грузчики, сапожники, рабочие депо, небольших мастерских и заводов. Но на всем был спокойный обывательский налет, свойственный глухому провинциальному, хоть и губернскому, городу.

В Печаткине же все было наружу — и люди и их дела. От этого и тревожно. Даже пацаны, с которыми познакомился Яшка, знали, что Печаткин — «исплотатор». Порой во время игры кто-нибудь из них такое высказывал о царе, что Яшку мороз по коже продирает, и он сразу же вспоминал испуганный шепот Аннушки, урезонивающей расходившегося мужа. За такие слова — он это знал — сажают в тюрьму. А у здешних ребят была какая-то притягательная легкость в поведении, уверенность в своей силе, порой доходившая до бесшабашности. И Яшка, чувствуя превосходство этих уже работающих на заводе мальчишек, охотно подчинялся им во всем. Скоро ребята стали относиться к нему, как к «своему», и даже любили его.

В тот день он проснулся рано. До первого заводского гудка оставалось еще не менее часа, но ему не спалось. За окном начинались робкие предутренние сумерки. Дождь, мелкий, осенний, шуршал по стеклу то яснее, то глуше, и тогда было слышно, как с потолка падают на пол звонкие капли.

Яшка, заложив руки за голову, глядел на серый квадрат окна, перечеркнутый рамой, и пытался представить себе, как он начнет работать. Пускай не гордится теперь Петька Зуев, не важничает Колька Чистяков. Где-то в глубине души Яшка завидовал им, особенно тогда, когда они возвращались с завода в промасленной одежде, с руками, пепельными от металлической пыли.

Но вчера мать купила ему на барахолке поношенные штаны из «чертовой кожи» и такие же поношенные, большие, не по ноге, башмаки. Из своей старой

юбки она сшила курточку с тремя карманами. Мастер Филимонов, к которому мать водила его на днях на квартиру и которому в прихожей сунула десятку, велел приходить сегодня в ремонтно-механический цех: Яшка будет учеником слесаря.

И вот он лежит с открытыми глазами и мечтает о том, о чем прежде и думать не смел. Еще вчера все считали его маленьким, а теперь он уже самостоятельный человек.

В каждую получку, думалось Яшке, половину денег он будет отдавать матери, а половина пойдет на брюки-клевш, широкую черную резину вместо ремня и белую рубашку-«апаш». Надо обязательно купить рыболовных крючков, две волосяные лески (надоело ловить рыбу на суровую нитку, которая все время запутывается), разную мелочь, ну и, конечно, настоящих папирос. Мать не знала, что Яшка уже давно курил втихомолку — окурки, подобранные на улице, а то и просто мох, которым были проконопачены стены барака...

Мечтая, он не заметил, как совсем рассвело и все предметы в комнате приняли ясные очертания. Заскрипел топчан: мать приподнялась и, свесив босые ноги, долго зевала, зябко поводила плечами, боясь ступить на холодный пол. Яшка, притворившись спящим, смотрел сквозь полузакрытые глаза, как мать усталым движением руки провела по глазам, вздохнула и, надев рабочий халат, вышла на кухню.

Яшка встал, натянул купленные ему штаны, которые оказались велики и длинны, подпоясался ремешком, засучил брючины до щиколоток и надел башмаки. Они тоже были велики, но мать уверила, что так и надо: «Придет зима, станешь накручивать портянки, тогда и будут впору».

И вдруг Яшка почувствовал, что ему хочется снова лечь на теплый сенник, закрыться с головой одеялом и никуда не идти. Ему стало одиноко и холодно от сознания, что вот через полчаса надо будет выйти на улицу, на дождь, прошагать чуть ли не через весь поселок, войти в сырой, неуютный цех и остаться там с незнакомыми, чужими людьми.

Таким — испуганным и растерянным — его и увидела мать.

— Сам встал? А я уж будить тебя пришла...

— Мам...

— Чего тебе?

— Ничего. Только если драться будут — убегу...

Мать схватила его за руку, будто он собирался убежать сейчас же.

— Что ты, что ты... Я попрошу, чтобы тебя не забивали... А уж ты, Яша, слушайся старших. Корней Фаддеевича слушайся. Он в большом почете у начальства, он и тебя в люди выведет. Знаешь, как живет человек! Ему начальство дом с сараем дало, у него и корова, и поросенок, и куры. Хорошим-то людям бог помогает, все у них есть...

Чтобы не разбудить спящих работников, вернувшихся с вечерней смены, мать говорила шепотом, наклоняясь к Яшке, и он улавливал в ее голосе раздражение.

— Видно, прогневили мы бога, мало молились ему, — шептала мать. — Вот и ты, Яша, за стол сядишься — лба не перекрестишь. Может, сейчас нам легче будет, пятнадцать — двадцать целковых — все хлеб. Дорого нынче жить стало...

За окном, быстро набирая силу, разлился гудок. Мать намазала брусничным вареньем два куска хлеба и сунула сверток Яшке.

— Ну иди... Дай я тебя перекрещу.

Она стояла спиной к окну, но Яшка заметил, что на глазах у матери слезы. Он почувствовал, что вот-вот разревется и, нахмурившись, пошел к дверям.

На улицу из бараков уже выходили рабочие. Людские ручейки возле завода образовали плотную, неторопливо движущуюся к проходной толпу.

Яшку окликнули: «Родный, погоди!..» Орудя локтями, к нему пробирался Петька Зуев.

— Бежал за тобой, аж вспотел весь, — едва переведя дух, сказал Петька. — Ну как — робеешь?

— Да чего робеть-то?..

Петька кивнул: мол, робеть-то, конечно, нечего, но сейчас ты, парень, врешь, робеешь, сам знаю. Петька сплюнул и, деловито подталкивая Яшку вперед, сказал:

— Ты вот что: первым делом получи у табельщика рабочий номер, вот такой. Как придешь на ра-

боту — вешай на доску, а когда домой — снимай. Если не повесишь — прогул запишут: хоть ты и был на работе, но вроде тебя и не было. А за каждый прогул — знаешь что? Будь здоров! И денежки уж обязательно высчитают. Потом получи у мастера марки, тебе без них в кладовой инструмента не выдадут...

Петька стал перечислять, что нужно слесарю, и Яшка пытался запомнить все эти мудреные названия: нутромер, ручник, зубило, кронциркуль...

Кто-то схватил его за плечо: парнишка не заметил, как дошел до проходной, и сторож, проверяющий пропуска, задержал его.

— Он новенький, — поспешил объяснить Петька. — В первый раз идет...

Сзади напирали, кричали сторожу: «Не задержи-вай!», а растерявшийся Яшка шарил по карманам: где-то должна быть у него записка от Филимонова — какие-то каракули на драном листке бумаги, подтверждающие, что «податель сига Яков Курбатов пропускаица в завод».

Канторка старшего мастера ремонтно-механического цеха помещалась на втором этаже двухэтажной каменной пристройки. От пристройки в обе стороны шли производственные корпуса. Одним окном канторка выходила в цех, а другим — на заводской двор. Отсюда было видно все, что делалось в цехе.

Яшка стоял у дверей канторы, переминаясь с ноги на ногу. Много всяческих страхов рассказывали о мастере ребята. И Яшка еще долго не решился бы постучаться, но дверь отворилась, и Филимонов увидел его.

— А, явился! Ну, заходи, не напускай холода! Ох, какой же ты заморыш!.. Подойди поближе — не бойся, не съем.

Яшке стало обидно. Мастер, ткнув его в плечо, усмехнулся:

— Ладно! Давай работай. Больно просила за тебя Настасья Ивановна, а то бы не взял. Тебе еще без порток бегать положено.

Он помолчал, пожевав мясистыми губами, и уселся поудобнее на скрипучем резном стуле. Ему словно

доставляло удовольствие разговаривать с мальчишкой.

— Ты смотри только — старайся. Не будешь стараться — сразу выгоню. Много вас таких. Кем быть-то хочешь?

Яшка чуть-чуть освоился. И громкий, какой-то рыкающий голос Филимонова показался ему не таким уж страшным.

— Слесарем я хочу быть, Корней Фаддеич!

— Слесарем так слесарем. — Он обернулся к табельщику, который сидел здесь же, в конторке, лениво прислушиваясь к этому, должно быть, привычному ему разговору. — Митя, запиши его в списки.

Так же лениво табельщик записал Яшку, потом сунул ему жестяной рабочий номер:

— Держи! Потеряешь — рупь из полочки высчитаем. Не вздумай себе медного делать, а то тебя шкеты в цехе научат. Если повесишь медный — прогул буду писать. К кому его приставим, Корней Фаддеич?

Мастер долго ковырял в зубах обломанной спичкой, смотрел в окошко, будто не слыша вопроса. Молчал и табельщик, ожидая, что скажет Филимонов. Наконец тот объявил:

— Давай к Данилычу.

Яшка шел по длинному цеху, пытаясь угадать, который здесь Данилыч. Наконец Митя подвел его к пожилому рабочему; тот, шепотом матерясь и краснея от натуги, зажимал в тиски какую-то деталь.

— Данилыч, мастер к тебе ученика прислал. Слушаться не будет — так ты не стесняйся.

Слесарь мельком взглянул на Яшку, и тот увидел бесцветные, пустые глаза, отечные мешки под ними, почувствовал запах самогона. Он стоял, не зная, что должен сказать Данилычу, и не замечая, что сзади подошел мастер.

— Мне... за марками сходить? — наконец выдавил Яшка.

Данилыч снова взглянул на него и ничего не ответил.

— Какие марки? — спросил Филимонов.

— По которым инструмент получать...

Мастер округло расхохотался. Данилыч, вторя ему, смеялся мелко и дробно, открывая коричневые пеньки редких зубов.

— О-ох, бойкий какой! Марки ему выдай... Марки захотел! А ты знаешь, что мы по году не только марок, а инструмента в руках не держали...

Мастер так же неожиданно, как и засмеялся, по-мрачнел, вытер ладонью покрасневший лоб и зло крикнул Яшке:

— Испортили вас, молокососов! Соплей вытирать не умеет, а со стариками равняется. Ты его, Данилыч, как следует, по-нашему учи.

Когда Филимонов ушел, Данилыч повернулся к мальчишке:

— Как звать?

— Яша.

— Ишь ты — Яша! А кто ж так тебя зовет! Для меня ты — Яшка. Понял? Яшка. Какой благородный! Яша... — ворчал Данилыч. — Поди, слесарем хочешь быть? А знаешь ли ты, голова садовая, что ученье сразу не начинается? До него, до ученья-то, надо на брюхе поползать, пока мозолей не будет. Я у хозяина только на втором году ручник и зубило получил.

Яшка слушал все это с тоской. Его утренние мечты о работе, о заводе, о зарплате как-то сразу потускнели.

А Данилыч продолжал:

— Значит, на слесаря выучиться хочешь? Эго, конечно, можно. Ты чей будешь?

— Курбатовой сын.

— Это той, что в пятом цехе?

— Ее.

— Ну что ж, поучить я тебя поучу. А клепка мне за это будет?

Яшка поглядел на него удивленно.

— Ну, угощение, — поморщившись, пояснил Данилыч.

— Не знаю, — почти шепотом ответил Яшка.

— Вот те раз — не знаю! У кого же мне, у индюка, что ли, спросить?

— Я маме деньги буду отдавать, — сказал Яшка.

Но сейчас ему хотелось одного: скорее заняться делом. И он согласился.

— Ладно уж... Я у мамы денег выпрошу...

— Давно бы так! Сейчас я тебе тиски на верстак приспособлю...

Данилыч куда-то ушел и, вернувшись с тисками, стал устанавливать их. Потом он закрепил в тисках какую-то железину.

— Научись сначала рубить, — сказал он. — Держи вот ручник. Да не так, а ближе к краю черенка. В левую руку возьми зубило. Ну, начинай! Да нет... На зубило-то не смотри! Смотри на острие... Опять не так... Чего ты боишься? По руке ударить боишься? Без этого, брат, не научишься. Ну давай!

Яшка начал рубить. Удары выходили слабые, неуверенные. Невольно тянуло смотреть на ручник, когда он ударял по зубилу.

— Куда глядишь? — разозлился Данилыч. — Руби, как показано... Опять не туда!

Он стукнул Яшку по затылку, и тот понял: «Начинается...»

Яшка продолжал рубить, стремясь ударить ручником по всем правилам. Но выходило у него плохо. Вдруг острая боль обожгла левую руку — из большого пальца потекла кровь, и он сунул его в рот.

— Ничего, ничего, — успокоил Данилыч. — Заживет, начинай сначала.

И Яшка снова стал рубить, оставляя на зубиле бурые следы крови. Все вроде шло хорошо. Тогда он ударил посильнее. И опять от боли перехватило дыхание.

— Ты паутины приложь, останови кровь-то, — посоветовал Данилыч.

Яшка приложил к ране густую паутину, и кровь вскоре перестала течь. Но работать он уже не мог — сидел и следил за Данилычем.

На другой день тот показал Яшке, как надо нарезать болты и гайки. Яшка уже начал проникаться благодарностью к учителю. Но через три дня все неожиданно изменилось: его вызвали в конторку Филимонова.

#### 4

В поселке и на заводе старший мастер был фигурой весьма заметной. Сын крупного сибирского кулака-сектанта, он двадцатилетним парнем приехал в Пе-

тербург. Одно время служил приказчиком у купцов в бакалейных лавках, был нечист на руку, да так, что никто его больше не принимал. И волей-неволей пришлось ему поступить на завод Петербургской металлической компании. Вначале он служил конторщиком, но за какую-то очередную проделку его оттуда выгнали. Филимонов кое-как выучился на плохонького слесаря, зато умел подладиться к начальству. Говорили, что он был в охране негласным агентом. Короче, начальство заметило его, и вскоре он стал мастером.

Говорили и другое: будто в 1905 году скороспелого мастера вывезли на тачке, но потом он вернулся на старое место, делал рабочим разные пакости и посмеивался: «Видали революцию?» Один раз ему устроили «темную» — накрыли мешком и крепко избили.

Оставаться в Питере было уже опасно, и начальство посоветовало Филимонову завербоваться в провинцию, на построенный Печаткиным военный завод. Приехав, он сразу завел свое хозяйство, — кулацкая жилка сохранилась в нем, несмотря на долгую жизнь в городе. Кроме большого огорода, у него были корова, коза, поросенок, куры, гуси, индюшки. Филимонова постоянно торговала на рынке.

Старшему мастеру стукнуло уже пятьдесят пять. Был он коротконог, выпирающий огурцом живот обтягивала жилетка с серебряной цепью и многочисленными брелоками. Все в поселке звали его не иначе как Пузаном. Приплюснутое, с маленькими, вечно неспокойными глазками лицо Филимонова было рыхлое, мягкое. Казалось, ткни пальцем — и на нем, как на свежей булке, останется вмятина.

Вызванный к мастеру Яшка всю дорогу до дверей конторки лихорадочно соображал, в чем же он успел провиниться. Как и в прошлый раз, он долго не решался войти. Очевидно, Филимонов видел, как парнишка шел по цеху: он сам пинком отворил дверь.

— Эй, как там тебя? Шибздик! — делая вид, что забыл имя Яшки, сказал мастер. — Знаешь, где я живу? Ну вот и пойдешь ко мне домой, помоги там по хозяйству.

Опешивший Яшка ничего не мог ответить. Где живет Пузан, он знал, заходил туда с матерью, но ему совсем не хотелось быть на побегушках у злой Филимонови.

— За полчаса до гудка вернешься обратно и номер с доски снимешь. Ну иди, иди. Вот пропуск для проходной. И чтоб как из пушки...

Филимониha, увидев его, недовольно крикнула:

— Больно ты долго! Давай-ка неси скорее поило поросенку.

И он понес тяжелое ведро в свинарник, где на соломенной подстилке лежал огромный боров. Его звали Колькой. Филимонов любил давать человеческие имена животным: корова у него была Марфой, кот — Филькой, а индюшка — Сонькой.

Боров, почувствовав запах пищи, неуклюже встал на тоненькие ножки и с трудом заворочал головой на жирной, в складках шее. Яшка, увидев его, ахнул и неожиданно для самого себя захохотал: боров до удивления походил на своего хозяина.

Мальчишки теперь кричали ему вслед: «Яшка, Яшка, свинопас, поцелуй свинячий глаз». Он грозил им кулаком и шел домой усталый, злой на всех — и на Филимонику, и на борова Кольку, и на ребят. Дни тянулись однообразно, и Яшке уже казалось, что у хозяйки он работает давно, а все прежнее — просто неповторимый сон.

Петька Зуев, тот просто сказал:

— Знаешь, от тебя коровьим дерьмом пахнет. И охота тебе...

Яшка объяснил, что иначе нельзя, что мастер просто прогонит с завода, что мать велит терпеть. Петька выслушал, позевывая, и равнодушно бросил:

— Ну-ну, давай корми своего борова! А я на твоём месте такое бы мастеру сделал! Все равно выгонит, а так — хоть с треском...

Яшка промолчал.

Он продолжал таскать для скотины воду, гонял на пруд гусей. Но когда Филимониha послала его чистить свинарник, он потупился и не сдвинулся с места.

— Слышишь ты? Кому говорят!

Яшка медленно повернулся и пошел на улицу. Он стоял за калиткой, ковыряя носком влажную, жирную землю, и думал: «А ведь выгонит... возьмет и выгонит». Ему не хотелось возвращаться назад, но

страх толкал его в спину. И Яшка вернулся, подчинившись этому страху. Вечером, когда он рассказал обо всем Петьке, тот просто взъярился:

— Трус ты, и больше никто! Пузан знаешь какой? Смирных любит. Исплотатор...

Яшка соглашался с ним. Соглашался потому, что ему не хотелось соглашаться с матерью, которая только и говорила о том, что нужно терпеть. Выход нашел тот же Петька.

В один из ясных дней Яшка, возвращаясь с Петькой домой, стал перебирать стершиеся медяки. Он все время сбивался со счета, кряхтел, качал головой.

— Ты что? — спросил Зуев.

— Клепку надо ставить. Данилыч бутылку самогона потребовал. Придется в Бердинку идти... Пойдем вместе?

Деревня Бердинка была в двух верстах от поселка, и по дороге ребята придумали — напоить филимоновских кур и петуха, а кота и борова мазнуть скипидаром. Скипидар был у Кольки Чистякова: он кашлял, и мать каждый вечер натирала ему грудь. На обратном пути они отлили в консервную банку самогона и спрятали его в штабелях дров.

— Сделай завтра утром. Мы во второй смене работаем, придем...

На следующее утро Яшка достал спрятанную накануне банку и принес ее в коровник. Там он нашел тарелку с отбитыми краями, перелил в нее самогон и насыпал овса.

Яшка часто кормил кур, и они знали его. Когда он вышел из коровника, куры бросились к нему. Разбухший овес он высыпал на землю, а тарелку спрятал.

Ребята залегли в канаве, Яшка — за изгородью. Ждать пришлось недолго: сначала подал голос петух. Кукареканье его было слабое и хриплое. Потом, наступая на крыло, петух попробовал поухаживать за курицей. Ребята помирали со смеху. Никто из них не увидел, как Яшка, держа в руках кота, пошел к свинарнику.

Он мазнул Кольку по «пяточку», потом сунул скипидарную тряпку в нос Фильке и отскочил в сторону.

Боров заревел и стрелой вылетел из свинарника. Всей своей тушей он навалился на забор, повалил его,

выскочил на дорогу и бросился бежать по лужам, поднимая фонтаны брызг. А Филька, с горящими от ярости глазами, выскочил во двор, постоял на месте, тряс напряженным, как струна, хвостом, и, жалобно воя, бросился на крышу.

— Ратуйте, православные! — кричала Филимони-ха, размахивая руками, как мельница. — Свето-преставление началось! Курыдохнут, скоты с ума сходят! Манька, беги за Колькой, гони его с до-роги.

Филимони-ха пнула испуганную, ничего не понима-ющую дочь.

Рабочие, проходившие мимо филимоновского дома, хохотали, держась за животы. Слушая вопли Фили-мони-хи, крестились старухи.

Яшка не дождался конца «светопреставления» — побежал к заводу. В цех он вошел как ни в чем не бывало. Подошел к Данилычу, попросил дать работу.

Мастер, увидев Яшку из окна конторки, подумал: «Ишь ты, сукин сын, двух часов не проработал» — и послал за ним табельщика.

— Ты что же, сопляк, сбежал? Я тебя совсем за ворота выгоню!

Он орал, а Яшкой овладевало отчаяние. Настав-ления и жалобные просьбы матери «не гневить на-чальство» забылись.

Размазывая промасленным рукавом слезы, он кри-чал в ответ:

— Не пойду я больше туда! Я на завод, а не к вам нанимался! Не буду у вас холуем!

Яшка осмелел:

— Не имеете права... Я в цехе работать хочу. Ме-ня и так все дразнят... По улице не пройти...

Филимонов сначала остолбенел, потом разразился такой бранью, что Яшка, ожидая удара, втянул голо-ву в плечи.

Всю эту сцену наблюдал старший мастер другой смены — Григорий Михайлович Чулин. Он тихо ска-зал Филимонову:

— Зря ты, Корней Фаддеич, над мальчишкой из-деваешься. Не ровен час, управляющий узнает, что ты за счет хозяина батраков содержишь, — плохо тебе будет. Переведи паренька ко мне в смену.

Пузан зло посмотрел на Яшку. Потом крикнул:  
— Пошел отсюда, негодяй!

К концу дня табельщик предупредил Яшку, чтобы завтра он выходил в чулинскую смену.

## 5

Завод работал уже больше года, а люди все приезжали и приезжали. Никто не знал и не считал, сколько здесь собралось народу: одни говорили — восемь, другие — двенадцать тысяч.

В короткий срок возле проходной выстроились четыре питейных заведения, с бильярдными и отдельными кабинетами. Быстро выросла в поселке деревянная церквушка, и чахоточный попик освятил ее под духов день «во славу божию». Появились в Печаткине и городовые, как есть по всей форме — при шашках и с красными кантами.

Все было как положено...

Григорий Михайлович Чулин только удивлялся: до чего же завидное постоянство! Кабак, церковь и городской — что еще надо властям, чтобы чувствовать себя спокойно! Как-то он полушутя-полусерьезно сказал Алешину, Клавиному отцу:

— Смотри, Павел, и учись: вот это работа! А мы что? Пока одни шрифты добываем, уже четыре пивных открыли, официанты с ног сбиваются...

Алешин не ответил.

Группе заводских большевиков пришлось трудно. По доносу провокатора были арестованы и сосланы сразу восемь человек. Петроградские организации узнали об этом поздно. И когда Чулин приехал в Печаткино, там уже оставалось только пятеро.

Первое, что он сделал, — послал одного из пятерки, Беднякова, в Питер за шрифтами. Однако время шло, а тот не возвращался, и Чулин, внешне оставаясь спокойным, был все-таки уверен, что посланца задержали.

Григорий Михайлович работал на заводе мастером и имел по соседству с Алешиными свой небольшой домик. Впрочем, если б не Алешин, этого домика

у него никогда бы не было. Павел Титович рассказал ему, как договаривался с хозяином отец, и Чулин тут же отправился к управляющему. Пришлось разыграть из себя прохвоста вроде Филимонова, зато в награду он получил прекрасное помещение, где могли собираться большевики.

Мастер, немолодой уже человек, жил один. Долгое время Алешин не решался спросить, женат ли он. Чулин сам сказал ему об этом в один из декабрьских дней:

— Всегда меня в это время в Москву тянет...

— Почему? Ты же питерский?

— Питерский-то питерский... А десять лет назад мою Варьку на Пресне убили...

На этом разговор и кончился. Но после него у Алешина осталось чувство щемящей жалости к Чулину, жалости, которую он боялся не только высказать вслух, но даже показать.

Быть может, так происходило потому, что Алешин сам был вдовцом и хорошо знал, чего стоит потерять любимого человека. Скупно и немногословно он передал этот разговор отцу. Тит Титович сразу как-то засуетился, забеспокоился, и впоследствии Алешин так и не мог узнать, когда же старик близко сошелся с Чулиным. Короче, мастер стал бывать у них «соседски», как говорил Тит Титович.

Обычно они сходились в субботу. На столе появлялся самовар, а в праздник — и бутылка самогонки, которую старик распивал один. Чулин не пил, а Алешин стеснялся выпивать при нем. Разговор заходил о самом разном: однажды он коснулся ребят, работающих на заводе, и Григорий Михайлович вспомнил, что перевел на днях в свою смену Яшку Курбатова, которого Филимонов едва было не уволил.

— Это ты хорошо сделал, — заметил Тит Титович. — Я этого парнишку знаю: ну, чистый адвокат, чистый Плевака. А кроме того...

Он многозначительно закашлялся, сделав вид, что поперхнулся, и с ехидцей взглянул на сына. Тот покраснел, сердито шевельнул густыми, как у отца, бровями. Но Чулин, ничего не заметив, спросил:

— Что?

— Да так... Вроде б мой-то с Курбатовой того... Погуливает, одним словом...

— Вот оно что? — удивленно протянул Чулин. — Ну, дело, как говорится, молодое... На свадьбу-то пригласишь?

Алешин что-то пробормотал в ответ.

Но, прощаясь с ним в сенях, Чулин спросил уже серьезно:

— Не помешает тебе... любовь-то эта? Ты не обижайся, я ведь давно все заметил... Но не лежит у меня к Курбатовой душа, какая-то темная она, забитая, богобоязненная. А я вот тебя в Питер хочу послать. Как она — поймет, если что-нибудь с тобой случится? Жизнь-то, она, брат, у нас с тобой трудная, и жены с нами одной думкой жить должны...

Алешин ответил не скоро. В темноте Чулин не видел его лица, но чувствовал, что тот растерян.

— Так ведь что поделать, — отозвался наконец. — Люблю я ее, Григорий Михайлович. А в Питер — какой может быть разговор? — конечно, поеду. Ты думаешь, Бедняков...

— Все может быть, — отрезал Чулин.

Три дня они к этому разговору не возвращались. А на четвертый Чулин зашел к Алешиным и вызвал Павла Титовича во двор:

— Пойдем ко мне, потолкуем.

Алешин, предполагая, что Григорий Михайлович будет снова говорить о том же, что и три дня назад, разозлился: какое ему в конце концов дело до его личной жизни? Он уже заранее обдумал слова, которыми ответит мастеру.

Но, войдя в комнату Чулина, ахнул: возле завешенного одеялом окна сидел смеющийся, счастливый Бедняков, а в углу — рабочий пятого цеха Пушкин.

— Ты откуда?

— Где был, там нет, — хохотнул Бедняков. — Был, да весь вышел. — Он посмотрел в сторону печки.

Алешин, проследив его взгляд, увидел стоявший на табуретке деревянный сундучок. С таким в ту пору колесили по железным дорогам мастеровые, голь перекатная, в поисках молочных рек да кисельных берегов. Замок сундучка был снят и лежал сверху.

— Да подойди, не бойся, — усмехнулся Бедняков. — Не кусается.

Алешин, еще не веря в удачу, откинул крышку и увидел аккуратно разложенные мешочки со шриф-

тами... Поднял один, подкинул на руке и, повернувшись к Беднякову, радостно улыбнулся:

— Значит, порядок? Эх, братцы, и закрутим теперь машинку! Держись!

— Печатника нет, — перебил его Чулин. — Да не торопись радоваться. Нам еще до машинки-то знаешь сколько сделать надо!

Он прошелся по комнате и, остановившись перед Алешиным, пробасил:

— Придется тебе в город ехать — за печатником. А мы пока начнем собирать станок. Но вот листовки кто носить будет? Ну, да там придумаем...

Алешину казалось, что Чулин, отсылая его, просто хочет отвадить от Курбатовой. Он побагровел, вспомнив недавний разговор в сенях, но промолчал, забился в угол и сидел там, слушая, как Бедняков рассказывает о своем пребывании в Питере. Он так бы и молчал до конца, но Чулин опять завел разговор о том, кто же будет проносить на завод листовки — так, чтобы рабочие, которых время от времени обыскивали, не подвергались опасности.

— Знаете, кто может? Яшка Курбатов, — донеслось вдруг из угла, где сидел Алешин. — Я за парня ручаюсь. Поговорить с ним только надо разок по-серьезнее.

— Ну вот и поговори, — обрадованно откликнулся Чулин. — Как приедешь, так и затащи его к себе. По-моему, тоже — смысленый парнишка. Только запуганный...

А Яшка, уставший после смены, в это время крепко спал и не знал, что именно этой ночью на многие и многие годы вперед, можно сказать на всю жизнь, определилась его судьба.

Из города Павел вернулся неожиданно быстро — через три дня. На заводе объяснил просто: болен, ездил к врачу. У него вычли из получки три рубля и пригрозили, что если такое повторится — выгонят.

Как-то Алешин, нагнав Яшку после смены, спросил:

— Ну, Плевако, что к нам не заходишь? Дочка по тебе соскучилась. Пойдем сейчас, а?

Яшка забормотал, что ему надо домой, что мать будет волноваться, да и грязный он, но Алешин уже крепко держал его за плечо и посмеивался:

— Ничего. Мы матери объясним как-нибудь. А вымоешься у меня — с мылом.

Яшка не хотел идти, но Алешин его тянул: «Да что ты ломаешься, как дешевый пряник. Сказано — идем, значит — идем...» Наконец Яшка понял, что дело здесь вовсе не в Клаве, а нужен он самому Алешину.

Смушение прошло, едва они приблизились к дому. Но Алешин вел себя как-то непонятно. Два раза он делал вид, что у него расшнуровались ботинки, хотя Яшка видел, что с ботинками все в порядке. Потом, проходя мимо окон, он, зачем-то оглянувшись, стукнул два раза в раму и только после этого поднялся на крыльцо.

Двери им открыл Тит Титович, и это тоже удивило Яшку: обычно двери здесь днем не запирались. И, только войдя в дом, Яшка понял, в чем дело...

Из-за перегородки вышел человек и обрадованно закивал.

— Это глухонемой, — быстро сказал Алешин Яшке. — Так что не стесняйся. Родственник наш, понимаешь...

Яшка растерянно смотрел на этого человека и слова не мог вымолвить.

— Заходи, заходи, — подтолкнул его Алешин.

Яшка шагнул к глухонемому и тихо сказал:

— Дядя Франц... Это я, Яшка!

Все замерли. Франц, медленно повернувшись к пареньку, прошептал: «Майн готт!» — и бросился к нему. Они обнялись. Франц разглядывал Яшку. От волнения он позабыл русские слова, и никто не мог понять, о чем он его спрашивает. Потом, повернувшись к Алешину, Франц сказал:

— Камерад... Карош мальшик... Как это? Настоящи товарищ...

Яшка не понимал ничего. Ни того, зачем его привел сюда Алешин (Клавы дома не было), ни того, какими судьбами здесь очутился пленный немец.

Франц все расспрашивал, куда это «ушел маленький товарищ», и Яшка рассказал о школе, о приставе,

о переезде сюда. А Алешин, поглядев ему в глаза своими синими с черными ободками, совсем как у Клавы, глазами, сказал грустно:

— Э, брат, да я и не знал всего... Значит, хлебнул уже шилом патоки?

Что-то перевернулось в Яшкиной жизни. Встречаясь с ребятами, он пытался скорее уйти, подбежать к алешинскому дому и, стукнув два раза в оконную раму, войти внутрь. Ему строго запретили носить детали станка сразу сюда. «Покрутись с ребятами, сделай вид, что играешь, потом удирай. Скажи: к Алешину пошел. Будут смеяться — не обращай внимания. Понял?» Ребята и в самом деле смеялись: «Тили-тили-тесто, жених и невеста...»

Где собирался станок, для которого он почти каждый день выносил части с завода, Яшка не знал. На все его расспросы, куда девался дядя Франц, Алешин многозначительно подмигивал и поднимал брови. В доме все встало на свои места. Появились куда-то уезжавшие бабушка и Клава. Теперь двери Яшке открывала Клава и при этом командовала:

— Сними ботинки, я только что подмела! Теплая вода осталась — можешь мыться. И тихо, пожалуйста, а то дедушка спит.

Яшка покорно снимал ботинки, мыл руки и осторожно входил в комнаты. Он подчинялся Клаве во всем, зная, что позже Алешин скажет ей:

— А теперь, Клабочка, оставь-ка нас: у нас свои дела.

Клава дергала плечом — подумает, дела — и все-таки уходила. Яшка внутренне торжествовал.

Однажды он пришел и не застал Алешина дома. Собрался уйти, но Клава втащила его обратно и заявила, что никуда не пустит: она в доме одна и ей просто-напросто страшно. Яшка смутился: нетрудно было догадаться, что она что-то крутит и ей вовсе не страшно, а так — придумала предлог. Клава пошла по всему дому: притащила самовар, поставила на стол тарелку со студнем. Яшка не поднимал на нее глаз. Он чувствовал, что молчать нельзя, надо что-то говорить, но слова застряли у него в горле. А Клава, сидя напротив, глядела на него в упор, подперев ку-

лаками щеки, так что глаза превратились в узкие щелочки.

Яшка, отвернувшись, увидел лежавшие на подоконнике книги и, для того чтобы нарушить тягостное молчание, спросил:

— Ты читаешь?

— Я.

Снова наступила пауза.

— А что это?

— Да так, — сказала Клава словно бы нехотя. — Тебе неинтересно. Гоголь, «Мертвые души».

«Мертвые души» Яшка читал, но многого не понял. А теперь, услышав это «тебе неинтересно», обиделся, — столько пренебрежения слышалось в Клавином голосе. Он с грохотом отодвинул от себя стакан с недопитым чаем и поднялся, поддерживая рукой металлические бабашки, насыпанные за пазуху.

— Это почему же «неинтересно»? — Яшка с расстановкой и как-то в нос произнес это слово. — Думаешь, ты одна такая... умная?

Клава ответила с прежней насмешливостью:

— Да ты разве интересуешься книгами? Борова скипидаром помазать или куриц самогоном напоить — это тебе больше по душе.

У Яшки перехватило дыхание: знает! Ну так что ж тут плохого? Ведь иначе-то он не мог уйти от Филимонова! И хотя он собирался сейчас схватить шапку и, не простившись с Клавой, убежать, что-то удержало его. Быть может, то, что в самом тоне, каким говорила Клава, слышалось осуждение, а он не мог понять, в чем же осуждают его. Девушка, деланно зевнув, отвернулась.

— Что ж худого, что я борова наскипидарил? Так ему и надо...

— Дурак, — спокойно заметила Клава. — Боров виноват, что ли? Небось самому Филимонову побоялся бы и кукиш показать. На бессловесной скотине легко отыгаться...

Яшка, разозлившись, пошел к дверям. Клава остановила его:

— Ты куда? Да постой же... Принес?

— Что принес?

— Ну, для отца — принес что-нибудь?

— А ты откуда знаешь?

— Теперь знаю, — улыбнулась она. — Давай сюда.  
— Ничего я не принес.

Клава тихонько засмеялась. Павел Титович стоял в дверях и улыбался: Яшка не заметил, как он вошел. Алешин шагнул к нему и, взлохматив его волосы, довольно проговорил:

— Молодчина ты, парень! А Клава в самом деле все знает. Разве от нее что-нибудь скроешь? Она у нас всюду пролезет.

Алешин говорил неправду. О существовании подпольной типографии знали пока только большевики, и Павлу Титовичу надо было говорить эту неправду, чтобы ребята считали себя участниками какого-то важного и опасного дела.

Они, конечно, и не догадывались, что в нескольких километрах от поселка, на берегу тихой речки Шограша, в обрыве, была вырыта землянка. Вход в нее скрывали кусты буйно разросшегося ивняка. Чтобы попасть в землянку, нужно было подъехать к обрыву на лодке и лезть по веревочной лестнице вверх. Здесь можно было жить и зимой: имелись нары, стол, несколько табуреток. В нише — уже полностью собранный типографский станок. А в углу, закрытое досками, хранилась святая святых, то, что с огромным трудом удалось привезти Чулину из Москвы, — оружие.

## 6

Листовка, которую Яшка нашел утром в своем инструментальном ящике, была невелика. Отпечатанная на серой, плотной бумаге, в которую лавочники обычно заворачивают селедку, она бы и не привлекла Яшкиного внимания, если б не приглушенные и радостные голоса рабочих:

— Смотрите, ребята: птички-залетки.

— Давно не было милых.

— А ну, кто голосистый — читай. Да пусть мальцы на свои места встанут. Без Пузана обойдемся...

Чулина никто не заметил, а когда рабочие, увидев его, утихли, он кивнул головой: читайте, мол, читайте, мне тоже интересно послушать.

Яшку поставили к окну. Один из рабочих сказал ему строго:

— Гляди на двор. Что мы тут делаем — тебя не касается. А увидишь кого — свистни. Умеешь свистеть-то?

Яшка вложил в рот два грязных пальца и пронзительно, так, что у самого зазвенело в ушах, свистнул.

— Вот, вот, — одобрительно похлопал его по плечу рабочий. — Стало быть, чуть что — свистни во всю силу.

— Зачем во всю силу? — заметил Чулин. — Надо тихонько, чтоб только мы слышали.

Рабочий внимательно поглядел на мастера, но смолчал.

Яшка стоял у окна и слушал размеренный, спокойный голос читающего листовку:

— «Товарищи рабочие! Выпуская смертоносную продукцию для братоубийственной войны, капиталист Печаткин несколько миллионов рублей в год выколачивает из нас, опуская прибыли в свой бездонный карман. Оглянитесь, как построен наш завод? Цехи сплошь деревянные, ни о какой охране труда капиталист не думает. Каждый день кто-нибудь да увечится. А о нашей жизни нечего и говорить. В бараках — рассадник заразы. Рабочие живут по шесть-семь человек в клетушке, где и двоим-то тесно. Штрафы так и сыплются на нас. Особенно зверствует хозяйский холуй Филимонов. Забыл, видимо, как его катали на тачке в пятом году».

В конце листовка призывала рабочих к борьбе. Под текстом стояла подпись: «Местная организация РСДРП(б)».

У Яшки гулко колотилось сердце. Каждое слово было понятно и ясно ему. Он словно бы разом увидел ветхие цехи и свои покалеченные пальцы, вспомнил комнату, где, кроме него с матерью, жили восемь работниц, угрозы Филимонова...

Прослушав листовку, рабочие молча закурили. Каждый, видимо, думал о своем.

Чулин, поднявшись на ящик, тихо спросил:

— Все понятно, товарищи?

— Вроде бы все... Только... как бороться-то? У меня, к примеру, батьку в шестом году услали к черту на рога. Так и пропал он...

— К тому же голые и безоружные мы...

— Неувязка здесь...

— Никакой неувязки нет, — спокойно сказал Чулин. — Вспомните, как было в пятом году. Теперь, товарищи, большевики сильнее, чем одиннадцать лет назад. Да, сильнее.

Последние слова он проговорил отчетливо и твердо. Рабочие молчали. Наконец один из них встал, подошел к Чулину и, крепко пожав ему руку, сказал:

— Ты прости нас, Михайлыч. Мы думали, ты просто хороший мужик...

Чулин, вытащив из кармана носовой платок, снял очки и смущенно начал протирать стекла.

Яшка не мог забыть того, что сказала ему Клава. День ото дня все острее становилась обида, нанесенная ему Филимоновым. Завидев его, он проходил мимо с вызывающей ухмылкой. Но мастер, казалось, не замечал его. И это бесило Яшку. Хоть бы за ухо схватил, дьявол, — в кармане Яшка таскал теперь острый напильник и обязательно бы полоснул Пузана по его пухлой, покрытой рыжими волосами руке.

Неожиданно ему пришлось снова столкнуться с Филимоновым, но уже при других обстоятельствах.

Управляющий Молотилов на два дня послал Чулина в губернский город и велел Филимонову на это время заменить его. Смена была ночная, и Филимонов пришел на работу вместе с табельщиком Митей. Увидев Яшку в инструментальной, он вдруг позеленел от злости:

— Марш отсюда, заморыш!

Дальше последовала такая брань, что Яшка опрометью побежал в цех и рассказал слесарям, как его шуганул Филимонов.

— Он всегда в ночной смене спит, — задумчиво произнес Петька Зуев. — Филимониха говорила, так спит, что хоть всех святых вместе с ним выноси — не услышит. Каждое утро он чуть ли не драться лезет, когда его будят. Может, смажем, а?

Яшка не понял, что значит «смажем», но согласился, догадываясь, что Зуев зря ничего не предложит. Когда же тот объяснил ему свой план, Яшка пришел в восторг. Вспомнив упрек Клавы, усмехнулся: «Что-то ты скажешь теперь?»

Рабочие в цехе, узнав, что на смену заступил Филимонов, подзадоривали:

— Валяйте, хлопцы! Мы хоть посмеемся.

Часа в три ночи ребята увидели через маленькое окошко табельщика, что Пузан и Митя спят. Они попробовали открыть дверь: она была заперта на задвижку. Выручил их один из слесарей: он сунул в скважину кусок проволоки, повертел ею, и дверь открылась.

Ребята, ступая на носки, вошли в конторку. Пузан и Митя храпели вовсю. Филимонов развалился на рыжем теплом тулупе, а табельщик — в мягком кресле.

У Петьки Зуева глаза так и горели, когда он кивнул на чернильницы, стоящие на столе. Яшка посмотрел: одна была с фиолетовыми чернилами, а другая с красными — ими обычно Чулин писал сводки. Зуев вытащил из кармана мягкую тонкую кисточку, которой токари смазывали мыльной эмульсией детали.

У Яшки мелко тряслись колени. Но Зуев шикнул на него — начинай, — и он, осторожно подойдя к Филимонову, обмакнул кисточку в чернила.

На лысине Яша нарисовал большой крест, на лбу — рога, нос осторожно покрасил красными чернилами, две красные полосы провел по обе стороны рта, отчего он стал казаться огромным, щеки сделал в крапинку.

Пузан даже не пошевелился.

Зуев точно так же разукрасил табельщика. Тот иногда махал рукой, будто отгонял надоедливых мух, но тоже не просыпался.

Закончив дело, ребята тихо вышли из конторки, и слесарь закрыл за ними дверь. Теперь надо было что-то предпринять, чтобы мастер и табельщик проснулись.

Кто-то предложил позвонить по телефону, рассчитывая, что звонок разбудит Митю. Так и произошло. Митя испуганно вскочил и бросился к трещавшему аппарату: «Я слушаю! Я слушаю! Кто говорит?» Но трубка молчала.

Разбуженный звонком Пузан начал было ругаться, но вдруг замолчал. На лице его появилось недоумение, потом испуг, потом губы начали расплываться

в глупой улыбке. То же самое происходило с табельщиком. Рабочие услышали громкий, визгливый смех Филимонова. Вслед за ним мелко и дробно засмеялся Митя. Оба, указывая друг на друга пальцами, были не в силах что-либо выговорить от смеха.

Первым опомнился Пузан. Заикаясь, он проговорил:

— Ну и рожа! Размалевали тебя, сволочи, как картину, прости господи. Прямо вельзевул какой-то. Умойся поди... Вот сволочи, не иначе как это чертово семя... Неужели и меня так?

— И вас, бог прости, Корней Фаддеевич! — еле справляясь с новым приступом смеха, пропищал Митя.

Мастер посмотрел в окно и увидел рабочих, которые заглядывали в конторку и хохотали.

Прикрыв руками лицо, он пробежал в умывальную и сунул голову под кран. Помогла лишь пемза.

Возвращаясь обратно, Филимонов зашел в инструментальную кладовую, и слесари не успели опомниться, как он подбежал к Яшке, крепко рванул его за ухо и ткнул в нос кулаком:

— На, художник, шпана подзаборная! Завтра за ворота вылетишь.

У Яшки потекла из носа кровь.

— Ты чего парнишку бьешь? — угрюмо спросил слесарь Мелентьев, вплотную подойдя к мастеру и раскачивая в руке тяжелый ручник.

Филимонов сплюнул и вышел из кладовой.

Утром, после смены, Яшка выбежал из цеха, чтобы незамеченным прошмыгнуть за ворота. Но мастер уже ждал его. Схватив Яшку за плечо, он резким движением бросил его на землю. Парнишка, пряча в колени лицо, успел громко крикнуть.

Удара почему-то не последовало. Яшка осторожно открыл глаза: рядом с Филимоновым стояли несколько рабочих.

— Ты что, мастер, опять его бить хочешь? Руки чешутся? Что ж, можно и подраться...

Не сказав ни слова, Филимонов повернулся и пошел. Но в дверях остановился:

— Вы еще, бунтовщики, вспомните меня, это как бог свят!

— Иди, иди, — махнул рукой Мелентьев. — Не боимся. В полицию беги жалуйся, филер паршивый...

На другой день приехал Чулин. Яшка все подробно рассказал ему. Тот сначала засмеялся, а потом, нахмурившись, качнул головой:

— Не так, Яшка, надо с этими пузанами бороться. Ну да вырастешь — поймешь. Таких, брат, надо.. насмерть бить.

## 7

Мало кто знал по-настоящему, как живет Григорий Михайлович Чулин. Все считали его добрым человеком, знатоком своего дела — и только. Был он среднего роста, с совершенно голой головой, — рано облысев, он брил ее. Ходил в пиджаке, жилетке, брюках навыпуск, носил неизменную кепку цвета маренго, с желтым, засаленным ремешком у козырька. Кепка обычно была сдвинута на затылок. Глядя на Чулина, никто не мог бы догадаться, что этот человек возглавляет в Печаткине партийную организацию.

В 1912 году, после Ленских событий, он был арестован в Петербурге за агитацию и сослан на два года в Шенкурский уезд Архангельской губернии. Вернувшись в Питер в самом начале войны, нигде не мог устроиться на работу и только ввиду высокой квалификации был принят на печаткинский завод. Правда, после появления листовок стали поговаривать, что Григорий Михайлович тут «самый главный революционер», только дело ведет тонко, так что комар носу не подточит. Поэтому, когда мастер работал ночью, к нему не раз неожиданно являлись жандармы в штатском. Был обыск и у него дома. Впрочем, когда кто-либо намекал на то, что Чулин — «главный революционер», на его защиту немедленно поднимался управляющий Молотиллов.

— За Чулина я вам полдюжины инженеров отдаю, — говорил он, зная, что другого такого специалиста-практика ему и в самом деле не найти.

Яшка любил мастера. Он привязался к нему еще тогда, когда тот ровным, спокойным голосом попросил Филимонова перевести мальчишку в его смену. Яшка рос без отца, да и, по существу, без матери. Его доброе, отзывчивое сердце нуждалось в ласке,

и, когда он чувствовал ее, льнул к людям, отвечая им тем же.

После того как Яшка пронес на завод две пачки листовок — их дал ему Павел Титович, — мастер стал относиться к нему еще лучше. Временами Яшка ловил на себе его задумчивый взгляд и смущенно опускал глаза. Ему казалось, что Чулин смотрит на него с какой-то грустью, и Яшке хотелось подойти и спросить: «Почему вы что-то скрываете от меня?» Он смутно чувствовал, что взрослые живут иной жизнью, что в ней участвуют и Чулин, и отец Клары, и Тит Титович, и Франц. И, еще не зная, какая это жизнь, Яшка тянулся к ней.

Слова листовок заставляли его замирать от восторга. С сильно бьющимся сердцем приносил он на завод эти небольшие листки. Но не потому, что ему было страшно, а потому, что и он как бы прикасался к той тайной жизни, которую вели Чулин и некоторые рабочие.

Твердо Яшка знал только одно: плохого мастер Чулин не сделает. Когда же от Мелентьева услышал, что, по всей видимости, мастер — большевик, спросил:

— А что это такое — большевик?

— Значит, которые за народ стоят, против царя и буржуев, — объяснил Мелентьев.

Это не удовлетворило Яшку, и он, зайдя после работы к Алешину, спросил его, правда ли, что Григорий Михайлович большевик и что если да, то можно ли Яшке тоже стать большевиком.

У Алешина дрогнули широкие ноздри. Сдержав смех, он сказал.

— А ты помалкивай, брат. За одно это слово, как говорят, Сибирь готова.

— Ну, тогда еще листовок дайте, — вздохнул Яшка.

Листовок ему больше не дали, но месяц спустя Чулин нашел ему дело...

Это было в начале февраля. Смена работала ночью. Григорий Михайлович вызвал к себе Яшку и, пригласив сесть, спросил:

— Как у тебя, Яша, язык крепко на шарнирах сидит или как в колоколе болтается?

Яшка обиделся:

— Я пока никому ничего не трепал.

— Ну, ну... — словно извиняясь, взял его за руку мастер. — Очень серьезное дело есть, Яша. Если узнают, то мне, да и другим, плохо будет. Понял? Плохо!

Чулин произнес последние слова с каким-то особым значением.

— Пускай рубят меня на части, а я все равно ничего не скажу, — выпалил Яшка. В глазах Чулина появилась добрая усмешка. Яшка еще больше осмелел. — Спросите у ребят. Ябедничал я на кого-нибудь? Вот, ей-богу, никому не скажу!

Он даже перекрестился для убедительности.

— Не божись, Яша, — тихо сказал Чулин. — Здесь нам бог не поможет. Я верю тебе.

Он прошелся по конторке.

— Ты через полчаса пойдешь вниз, подежуришь у дверей. Обо всех, кто направляется сюда, быстро предупредишь.

Яшке поручение показалось несерьезным. Чулин будто прочел его мысли.

— Это очень важное дело, Яша. Если ты его как следует не выполнишь, многие в тюрьму сядут, — нахмутив брови, сказал он.

— Сделаю я, — в тон ему и так же хмурясь, ответил Яшка. — На совесть сделаю. Пускай меня в тюрьму посадят, а я вас не подведу.

— Вот и хорошо. Тебя-то в тюрьму не посадят, мал еще, а ты лучше так сделай, чтобы меня не посадили. Ну иди. Я тебя позову, когда надо будет. Только помни: никому ни слова.

Яшка не уходил. Чулин видел, что он о чем-то хочет его спросить.

— Чего ты?

— Скажите, а что такое «большевик»?

— Большевик? — переспросил Чулин, пристально посмотрев на парнишку. После небольшой паузы он сказал: — Это, Яша, так зовут тех, кто добра людям хочет, кто борется, чтобы рабочим жилось лучше. Об этом я тебе еще расскажу. Приходи ко мне домой в воскресенье.

— Ладно, приду. А вы не большевик, дядя Гриша?

Чулин засмеялся:

— Вот что, паренек. Никого об этом не спрашивай. Никто тебе не скажет. Ты лучше приглядывайся ко всему.

— Я и приглядываюсь. Только ничего понять не могу. Слышал я, что дядя Павел тоже большевик. Я смотрел, смотрел за ним, а он обыкновенный человек!

Чулин повернул парнишку к дверям:

— Об этом потом. А теперь иди.

Через полчаса в конторе Чулина собралось человек десять рабочих. Из соседнего цеха пришел дядя Павел.

Стояла лунная, звездная ночь. Коридор и лестница были слабо освещены: где-то на самом верху, под потолком, горела маленькая запыленная электрическая лампочка.

Яшка дежурил уже около двух часов — его начало знобить. Он перешел на лестничную площадку и стал греться у батареи парового отопления. Случайно выглянув в окно, вдруг увидел, что к крыльцу подходят четверо. Лунный свет скользнул по стволам винтовок.

Яшка со всех ног бросился вверх, к конторке.

Пока жандармы поднимались, комната мастера опустела. Чулин тоже ушел в цех. Только хмурый табельщик что-то писал, а около него стоял Яшка.

Дверь с грохотом открылась, как будто бы ее хотели сорвать с петель. Жандармы не вошли, а влетели в конторку и с бранью подскочили к табельщику.

— Где мастер? Встать, скотина!

— Мастер в цехе, — спокойно ответил тот и показал рукой на окно. — А потом, ваши благородия, я не скотина, у меня человеческий облик есть. А если бы я был скотина — козел там или бык какой, — я бы на вас бодаться бросился. Так позвать вам мастера или сами в цех пройти изволите?

— Позови! — отрывисто приказал офицер.

— Яша, сбегай...

Когда Чулин пришел, жандармы начали расспрашивать его о пожарной охране, о том, не заметил ли он в цехе посторонних. Дядя Гриша отвечал спокойно: нет, посторонних в цехе не видно, а пожарную охрану проверяли только вчера.

Скоро незваные гости ушли. Чулин обнял Яшку, и поцеловал в красную, еще холодную щеку.

Как-то ночью в конце февраля Якова разбудил тяжелый, будто подземный толчок, в комнату со звоном сыпались стекла. Наспех одевшись, Яшка выскочил на улицу. Мимо него уже бежали, что-то крича, люди, а в той стороне, где был завод, стояло в морозном воздухе черное неподвижное облако дыма.

Яшка мчался к заводу. По дороге он ловил обрывки фраз: «Пятый цех... начисто... склады...»

Возле ворот стояла плотная толпа рабочих. Взобравшись на пролетку, бог весть как очутившуюся здесь, Яшка увидел: люди за забором носят что-то и складывают... И вдруг он догадался — это то, что осталось от рабочих! Закружилась голова. Яшка чуть не упал с пролетки...

Внезапно он вздрогнул: мать! Она тоже работала там, в пятом цехе, и Алешин тоже!.. Он бросился вперед, расталкивая людей, пролезая на четвереньках, пока не добрался до ворот. Здесь его остановил Чулин:

— Ты куда, сынок?

— Там... мама...

Яшка задыхался от слез, застрявших в горле. Чулин поднял его и передал стоявшему неподалеку Пушкину:

— Отведи ко мне...

— Я не хочу! — крикнул Яшка. — Дядя Гриша, я не хочу! Мама!..

Когда ему удалось вырваться, его обняли другие руки, и незнакомый рабочий тихо сказал:

— Иди отсюда, паренек. Сейчас не место тебе здесь.

Яшка вырвался, вцепился в железные прутья заводских ворот и затих...

Постепенно до него стали долетать отдельные слова, потом целые фразы.

На забор забрался жандарм Бессонов:

— Это немецкие штучки! Немцы и большевики заодно, они и подложили бомбу!

— Врешь, подлюга!

— Катись!

Что-то полетело в Бессонова, он поспешно слез с забора и побежал через двор, придерживая кобуру.

Раздался громкий голос Чулина:

— Это ложь, товарищи! На нашей крови богатство зарабатывают. Лишнюю копейку пожалел Печаткин — вот и погубил столько народу.

Его голос слышался далеко — стояла тишина.

— Пора кончать с этим! Довольно пролилось нашей крови. Царь и капиталисты заодно, вместе душат нас! Долой войну!

Яшка увидел, как по двору пронесли носилки, покрытые мешковиной. Из-под нее торчала рука. Носилки наклонились, и рука вдруг вывалилась в грязь. Яшка вскрикнул и потерял сознание.

К Чулину, только что вернувшемуся домой с аварийных работ, прибежал парнишка-телеграфист. От быстрого бега он задыхался и не мог выговорить ни слова. Наконец сбивчиво рассказал, что сегодня утром принял телеграмму, в которой говорится, что царь отрекся от престола, что временный комитет Государственной думы во главе с Родзянко взял власть в свои руки и призывает всех к спокойствию и порядку. Была и вторая телеграмма: Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов предлагал создавать Советы на местах и, в свою очередь, брать власть.

— Где эти телеграммы? — спросил, одеваясь, Чулин.

— А начальник почты все ленты забрал и побежал на квартиру к Молотилову.

Чулин, накрыв одеялом разметавшегося на постели Яшку, выбежал на улицу. Сначала он заскочил к Беднякову, потом к Булгакову и еще к нескольким большевикам. Минут через пятнадцать тревожно загудел заводской гудок. Из уцелевших цехов рабочие высыпали на заводской двор, туда же бежали люди из поселка. Под напором толпы тяжелые заводские ворота открылись.

Кто-то принес несколько пустых ящиков из-под снарядов. Они стали трибуной, на которую легко вспрыгнул Бедняков. Толпа притихла.

— Товарищи! — крикнул он. — Вчера в Петрограде свергнуто самодержавие! Кровавый царь отрекся от престола. Сегодня утром пришли телеграммы

о событиях в Питере. Почтарь Воробьев, Молотилев и другие господа хотят скрыть от нас эти телеграммы! Все они сейчас собрались на квартире у Молотилова. Но революцию скрыть нельзя! Заставим господ выдать нам ленты!

Рабочие сами выстроились в ряды и двинулись по улице. Зазвучала давно не певшаяся в полный голос революционная песня:

Отречемся от старого мира,  
Отряхнем его прах с наших ног...

Песня еще не кончилась, а где-то в середине колонны родилась новая:

Смело, товарищи, в ногу,  
Духом окрепнем в борьбе.  
В царство свободы дорогу  
Грудью проложим себе...

У дома Молотилова уже стояло несколько сот рабочих.

— Товарищи, главное — спокойствие! Спокойствие, товарищи! — слышалось в рядах.

Бедняков и еще несколько человек, раздвигая толпу, поднялись на крыльцо и вошли в дом. Через некоторое время в дверях показался огромный, страшный в ярости кузнец Смирнов. Он, как котенка, держал за шиворот почтаря Воробьева. В сопровождении рабочих вышел и мертвенно-бледный Молотилев, а вслед за ним — жандармский ротмистр. Толпа загудела:

— Давай их сюда!..

— Хватит, поцарствовали!

— Смотрите, какие морды отъели!

Радостный Бедняков размахивал телеграммами...

## 9

Яшка очнулся только на третий день — бледный, с коричневыми тенями под глазами. Еще боясь открыть глаза, он лежал и слушал, как кто-то двигается по комнате, осторожно переставляя мебель, и наконец тихонько позвал:

— Мам!

Шаги смолкли. Яшка, открыв глаза, увидел прямо перед собой стенку с какими-то незнакомыми обоями, часы-ходики и фотографию в резной рамке: эти вещи он как будто видел впервые. Захотел приподняться и не смог. Все тело было словно привязано к постели сотнями невидимых веревочек, которые больно и глубоко врезались в кожу. Яшка выдохнул: «Пить» — и, когда почувствовал на губах холод кружки, вспомнил все...

Его выходила Марфа Ильинична Алешина. Три дня назад чудом спасшийся от смерти Павел Титович принес Яшку от Чулина и, уложив в свою кровать, сел, обхватив голову руками:

— Настасья... погибла...

Мать, охнув, прислонилась к дверному косяку и долго смотрела на Яшку печальными, глубокими глазами. Потом, подойдя к кровати, медленно провела рукой по шершавой Яшкиной щеке и, иахмурившись, сказала сыну:

— Чего панихиду развел? А еще мужик. Ступай-ка наколи дров — с утра печь не топлена.

Алешин послушно встал и ушел. Только тогда Марфа Ильинична разрыдалась. Ей было жаль всех: и Настасью, и осиротевшего Яшку, и сына, оставшегося бобылем, и себя. Скоро уж и помирать, а оглянешься — и пусто позади, будто и не прожито шестьдесят пять лет на земле.

Яшка постепенно начал узнавать вещи: и эти часы-ходики, и фотографии на стене, и старомодный пузатый комод, на котором стояли в вазочке ломкие бессмертники.

И снова в памяти вспыхнуло увиденное там, на заводском дворе. Поднеся ко рту руки, Яшка сдавленно закричал.

Подошла Марфа Ильинична; у нее шевелились губы: очевидно, она что-то говорила...

Потом он несколько дней пролежал, отвернувшись к стене. Его заставляли есть — и он ел нехотя, с трудом. Закрывая глаза, представлял себе мать, ее усталое бледное лицо со скорбными складками в уголках губ. Временами ему казалось, что мать здесь, в комнате, и он пытался встать. Нет, это Тит Титович осторожно входил и, увидев, что Яшка беспокоится, махал руками: «Лежи, лежи, я на секундочку, в комод за-

гляну...» Из комода брали вещи и меняли па продукты — для Яшки. Он, конечно, этого не знал.

Жуткое чувство одиночества, может, и убило бы Яшку, но вечерами, когда собиралась вся семья, он словно бы оживал и незаметно для себя начинал слушать, о чем говорят взрослые. Он и не догадывался, что люди собирались и разговаривали иногда ради него, ради того, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей.

Слушая эти разговоры, Яшка начал представлять себе, что творилось за стенами маленького домика, ставшего ему родным.

В Совет, как он узнал, было избрано одиннадцать человек. Из них — шесть большевиков, среди которых Бедняков, Пушкин и Чулин, один анархист, Федоров, и четыре эсера — «правый» и три «левых».

На другой день был создан первый легальный заводской комитет. Председателем его стал Павел Титович Алешин.

Яшка не знал многих слов, произносимых взрослыми. «Митинг», «эсеры»... Тит Титович кое-что объяснял ему по-своему:

— Эсеры — это, брат, навоз... Не трогаешь, а все равно воняет. С ними никогда не связывайся — замараешься.

Тит Титович рассказал о митинге на площади перед заводом. Он то и дело хитро подмигивал Яшке, порой вставляя какое-нибудь соленое словцо, и Марфа Ильинична замахивалась на него тряпкой:

— Не охальничай, безбожник!

...Четвертого марта заводской гудок созвал рабочих на площадь. На трибуне стояли трое незнакомых: двое были в форменных фуражках с синими и зелеными околышами, один — в плюшевой шляпе. С ними о чем-то оживленно разговаривали Молотилев и эсер Карякин.

Когда народ собрался, помощник Молотилова — Ермашев объявил, что слово имеет представитель губернской власти.

Люди притихли.

«Плюшевая шляпа» заговорила:

— Граждане русской республики! В столице нашей, в Петрограде, образовано Временное правитель-

ство. Оно приступило к работе, к подготовке выборов в Учредительное собрание, которое должно отразить волю народа и выбрать законное правительство земли русской...

— Кто в правительстве? — крикнули из толпы.

— Сейчас, граждане, прочитаю! — Представитель стал читать. Как только он произнес первую фамилию — председателя Совета министров Львова, — толпа загудела. Другие фамилии уже невозможно было слышать.

— Опять князь!

— Царя по шапке, так на шею князь сел!

— Эй! Скажи, а как насчет войны? Когда мир будет?

Толпа волновалась все больше и больше, оратор беспомощно разводил руками: ему не давали говорить.

На трибуну вышел Захар Аввакумович Пушкин. И сразу смолкли голоса, наступила ровная, ожидающая тишина.

— Вот что, товарищи! Вы не кричите, а то господа не привыкли к крику. Чего доброго, испужаете их... Давайте мы так рассудим. Пускай у них будет князь Львов, а мы его и знать не хотим. У нас своя власть есть? Есть! Совет рабочих депутатов, который мы выбрали. Правильно я говорю?

— Правильно, давай дальше! — раздались одобрительные голоса.

— Ну вот, господа, видите? — обернулся Пушкин к представителям из губернии. — Делать, выходит, вам больше здесь вроде бы как и нечего. Управляющий, наверное, даст вам лошадку до станции. Мы-то туда пешком ходим, а вы уж, будьте так добры, на лошадке... На этом и кончим. Митинг, товарищи, закрыт.

Рабочие начали расходиться. Губернские представители поспешно слезли с трибуны и стали усаживаться в молотилковские сани...

Услышал Яша также и другую историю, которая произошла на заводе и взбудоражила весь поселок.

Тит Титович, рассказывая ее, вытирал слезящиеся от смеха глаза, а Клава и бабушка улыбались.

История была такой.

Когда у людей вроде Молотилова и Филимонова прошел первый испуг, они увидели, что жить можно, и снова подняли голову. Как-то в один из мартовских дней управляющий, обходя завод, пришел в цех Филимонова. Пузан сопровождал его, осторожно ступая на полшага сзади, изогнув коромыслом спину. Они остановились у станка токаря Грачева — «левого» эсера, избранного в Совет рабочих депутатов.

— Ну что, власть, работаешь? — с насмешкой произнес Молотилов.

Мастер подобострастно рассмеялся:

— Уж и власть нынче пошла...

— Что вам от меня надо? — нахмурившись, спросил Грачев.

— Ишь ты! Прямо губернатор!

Филимонов, увидев себя и Молотилова в плотном кольце рабочих, крикнул:

— Это что такое? Давай по местам, не то всех перепишу...

Сказано это было уже неуверенным голосом, в котором явственно слышался страх. Филимонов косился на побледневшего Молотилова, ожидая помощи. Но управляющий, поняв, что дело зашло слишком далеко, лишь бормотал:

— Не надо, Филимонов... Оставь... Идем-ка отсюда, идем...

Но выйти уже было невозможно.

Кто-то спокойно сказал:

— Может, прокатим, а?

Филимонова схватили. Он сразу обмяк всем своим рыхлым телом. Только жалобно взвизгнул:

— Господин управляющий!

— Что вы делаете? Оставьте мастера! Я милицию вызову! — крикнул Молотилов.

Этого было достаточно.

— Валяй его тоже! Тащи еще тачку!

Две тачки, в которых возили глину, с грохотом пригнали в цех.

— С удобствами прокатим, на рессорах.

Кто-то сбегал в кочегарку и дал гудок. Изо всех цехов высыпали рабочие. Под улюлюканье и крепкую ругань тачки повезли.

— Эй, рысаки, подождите! — крикнули на бегу двое парней.

Тачки остановились, и парни накинули на головы Филимонова и Молотилова мешки из-под сурика.

За воротами их с ходу опрокинули в канаву, полную сточной воды. Первым выбрался Молотиллов. Лицо его, измазанное суриком и грязью, подергивалось.

— Смотрите, ребята, монархист-то покраснел! — крикнул кто-то.

— И вежливый стал!

Молотиллов, молча вытираясь на ходу, побежал к своему дому.

Пузан, тоже весь перепачканный, с синяком под глазом, был страшен. На карачках он выполз из канавы и, с трудом встав на ноги, пятился задом, все время низко кланяясь:

— Что вы, ребятки?.. Ну что вы, ребятки?..

— Ладно, валяй, — великодушно отпустили его.

Никто уже не смотрел в сторону Филимонова, а тот все еще пятился, все бормотал:

— Ребятки, да я ж... Не надо, ребятки...

Больше Молотилова на заводе не видели. Управляющим был назначен Ермашев. Не стало и Филимонова: он распродал свое хозяйство и уехал в Сибирь.

## 10

Из дома Алешина Яшка вышел пошатываясь от слабости и сразу отправился на завод. Черные, закопченные корпуса притягивали и вместе с тем отталкивали его. Он шел туда с тупой болью от сознания, что не войти ему больше в пятый цех, не подбежать к матери, не услышать ее обычного, ласкового: «Что тебе, Яшенька?» Слезы душили его, темнело в глазах. Он несколько раз останавливался, прежде чем добрел до проходной.

На заводе долго разыскивал Петьку Зуева — до тех пор, пока один из рабочих не сказал ему, отводя взгляд:

— Нету твоего Петьки.

— Как нету?

— Да так вот.. Схоронили.

Яшка побелел. Оказавшийся неподалеку старик Пушкин с упреком сказал рабочему:

— Эх ты, бóтало... Язык у тебя!

Потом Пушкин подошел к Яшке и, проведя по его щеке колючей рукой, посоветовал:

— Разущи Трохова. Знаешь его? Чертежник. Скажи — я послал. Он тебе найдет дело.

Никакого Трохова Яшка не знал и решил отправиться в поселок — посмотреть, что там происходит. Но куда бы он ни шел, повсюду казалось ему, что вот-вот вынырнет откуда-нибудь Петька Зуев, посмотрит, прищурясь, сплюнет, кивнет, как обычно: «А, это ты? Айда орла забивать».

А кругом шла своим чередом жизнь, и порой Яшке мерещилось, что он впервые попал в этот поселок.

Еще во время болезни он много узнал от взрослых о происходящих событиях. Властью в поселке теперь был не присланный из губернии комиссар Временного правительства, а Совет рабочих депутатов и заводской комитет профсоюза.

Одного не мог понять: как это работают рядом эсер, большевик, анархист... Эсер Карякин, ложенный, фасонистый, стал после жандармского офицера Бессонова начальником охраны, которая теперь называется милицией. Федоров, главарь анархистов, лохматый, похож на беглого каторжника. Да и говорят о нем нехорошее: будто был он взломщиком и где-то ограбил банк...

В этот вечер Яшка шел мимо тринадцатого барака и увидел через окна собравшуюся здесь молодежь — подростков из разных цехов. Он робко зашел в помещение. Какой-то незнакомый мужчина рассказывал об «отце русской анархии Бакуanine», о том, какой это был большой революционер и как мужественно дрался в Дрездене на баррикадах. Когда беседа кончилась, мужчина стал объяснять про какую-то «организацию юнцов» и пригласил в нее записываться. Ребята потянулись к столу. Яшка встал и ушел.

Вечером, вернувшись к Алешиным, он рассказал обо всем, что увидел, Павлу Титовичу. Тот, услышав про запись, тревожно взглянул на него:

— Ты записался?

— Нет. Зачем мне в анархисты?

Алешин, нахлобучив шапку, буркнул своим:

— Если понадобится, буду у соседа.

Идя к Чулину, Алешин ругал себя за то, что упустил такое дело, как «организация юнцов». Черт его знает, что замышляют анархисты.

Чулин, услышав об «организации», тоже насторожился.

— Что же Трохов смотрит? Поручили ведь ему...

Гроза разразилась в июле.

Яшка, как всегда, работал в ночной смене Чулина. Около трех часов в конторку пришли милиционеры от эсера Карякина и увели с собой мастера. Яшка все это видел и сразу же сказал слесарям. Те переполошились, забегали. Оказалось, в эту же ночь были арестованы Бедняков, Булгаков, Павел Алешин. Утром всех их должны были отправить в губернский город.

Слесари сразу же послали Яшку в поселок — предупредить об этом остальных большевиков.

На обратном пути он забежал к Алешиным, чтобы рассказать обо всем Титу Титовичу. Открыла ему испуганная Клава. В одной рубашке, в накинутом на плечи старом пальтишке и в сандалиях на босу ногу, она долго не могла понять спросонья, что случилось.

Встал Тит Титович, и Яшка скороговоркой рассказал ему, как арестовали дядю Павла.

— Ну, мать, — крикнул старик за перегородку, — видно, до самой смерти не дождемся мы от сыновей покоя. Беги, адвокат, теперь уж ничего не сделаешь. Посидит да вернется твой дядя Павел. Не впервой ему...

Потом он накинулся на внуку:

— Ты что, Клавка, дрожишь и нюни распустила? Одедась бы, а то неудобно: ухажер пришел. Да не реви, дура, вернется отец!

Яшка возвратился в цех: там стоял невообразимый шум:

— В милицию пошли, чего там!

— Не дадим гадам Чулина!

— Павлуху засадили. Ну уж!

...Милиция находилась напротив проходной завода, в здании бывшей охраны. Здесь уже стояла плотная

толпа рабочих, а на крыльце, держа винтовки наперевес, жались друг к другу карякинские милиционеры.

Кто-то намотал на палку тряпку, обмакнул ее в нефть и поджег. Получился факел. Он горел ярко, и густой черный дым уходил вверх, к светлому летнему небу. Вскоре вспыхнуло еще несколько факелов.

Вид большой толпы, освещенной огнем, был грозным. Люди шумели:

— Дождались свободы! Нечего сказать!

— Опять фараоны наших арестовывают...

— Хлеба бы лучше дали!

— Войну кончать надо!

— С голоду подышаем. В брюхе у всех Иван Пискун да Марья Икотишна!

Женщины переключили всю злобу на милиционеров:

— Смотрите, какие толсторожие дармоеды!

— В окопы их! Вшей кормить!

— Давайте, бабы! Тащи их! Устроим им порку!

Передние ряды женщин двинулись к крыльцу. В это время на него взобрался большевик Чугунов:

— Товарищи! Спокойно! Это мы всегда успеем... Мы собрались здесь по другому делу. Почему арестовали ночью наших товарищей-большевиков? Вы знаете, что они не преступники. Они боролись за рабочий класс, за свободу, против грабительской войны, которая нужна только капиталистам. Потребуем сюда Карякина, пускай нам скажет: почему арестовали наших товарищей?

— Карякин, выходи!

— Был рабочий, а стал фараон!

Особенно люто кричали пожарные. Большое двухэтажное здание пожарного депо стояло рядом с милицией. Между пожарниками и милиционерами все время были раздоры, а то и драки. Началось это с того, что Карякин отравил брандмейстера метиловым спиртом — угостил на праздничек!

Пожарники развернули рукава и грозились «потопить всю эту вшивую милицию». Крикнул Чугунов «Давай!» — и худо пришлось бы милиционерам.

На крыльцо вышел сам Карякин. Видно было: струснул человек — тихим голосом он объяснил, что

арест произведен по распоряжению губернского комиссара и арестованных можно выпустить только по его же приказанию.

— Ты нам мозги не крути! — крикнул кто-то. — Плевали мы на твоих комиссаров! Освобождай, а то плохо будет. Буржуйские холуи! Сели нам на шею!

Карякин отлично понимал, что дело может кончиться не одним холодным душем.

— Уж если вы требуете... — промямлил он.

Через несколько минут на крыльцо вышли Бедняков, Чулин и Алешин. Их встретили молчаливо: рассматривали внимательно, будто видели впервые. А потом обрадованно зашумели: все были живы-здоровы.

Чулин, привычным движением протирая стекла очков, заговорил, как всегда, негромко и неторопливо:

— Спасибо вам, товарищи! Спасибо...

Он рассказал о предательской роли Временного правительства, меньшевиков и эсеров, которые выполняют волю своих и иностранных капиталистов. А кончил так:

— Час еще не настал, но он скоро настанет. И рабочий класс будет хозяином своей жизни! А сейчас, товарищи, на работу и по домам! За нас не бойтесь, больше они не посмеют.

Шли они втроем: Чулин, Алешин и Яшка. Но, не доходя до дома, Чулин остановился и, положив Яшке на плечо руку, спросил:

— Дело одно сделаешь? Совсем негероическое...

— Сделаю.

— На тебе ключ. Пойдешь ко мне, соберешь пару рубашек, мыло, полотенце, сапоги. А встретимся мы с тобой завтра в обед. Где железнодорожный седьмой знак — знаешь? Ну вот...

И пошел в сторону, не оборачиваясь.

— Куда это он? — тихо спросил Яшка у Алешина.

Тот не ответил. Он долго смотрел вслед уходившему Чулину, а потом так же тихо сказал:

— Зайди и ко мне. Соберите с Клавой, что самое нужное. Увидимся там же, у седьмого знака. — И Алешин свернул в другую сторону.

Яшка сначала оторопело глядел на широкую, немного сутулую его спину, а потом, догнав, спросил:

— Дядя Павел... Вы уходите? Насовсем?  
На Яшку глядели синие, с черным ободком глаза.  
— Насовсем? Нет... Мы скоро вернемся, Яша!



К седьмому знаку он пошел вместе с Клавой. Они миновали последние бараки, и вот прямо перед ними, сливаясь далеко-далеко в узкую серебристую полосу, легла железная дорога. Сначала они шли по шпалам непривычно короткими шагами, а потом сошли на насыпь. Идти по глубокому песку было трудно.

Яшка не думал, что он устанет первым, — очевидно, сказалась недавняя болезнь. Когда он присел, опустив к ногам узелок, Клава спросила: «Может, помочь?» Он не ответил, будто не расслышал вопроса.

Ему казалось, что все переменялось вокруг. Каким-то необычайно нарядным стал лес, с обеих сторон подступивший к железнодорожному полотну. Воздух — свежий, напоенный запахом хвои, разогретой смолы, болотистой прели — пьянил. Кузнечики неумело звенели в траве, а птицы шумно щебетали.

Потом они дошли до ручья, сбегали к прозрачной, игриво журчащей возле коряг воде, и Клава первая опустила в ручей усталые, покрытые пылью ноги. А Яшка не торопился. Он все делал и воспринимал теперь как-то медленно.

Когда их окликнули сзади: «Эй, вы, куда шагаете?», он не вздрогнул, не испугался, а спокойно обернулся. Там, за кустами, стоял парень с винтовкой: видна была его голова, сбитый на затылок картуз с расколотым козырьком да загорелая жилистая шея.

— А, это ты... — с облегчением протянула Клава.

Парень вышел из-за кустов, и Яшка узнал его: раз или два видел на заводе.

— Куда все-таки шагаете?

— А тебе что? Нам с тобой не по пути, — отрезала Клава.

— Может, возьмете в компанию?

Яшка смотрел на его красивое, улыбающееся лицо, светлые волосы, свободно падающие на лоб, и хму-

рился. Парню было лет двадцать пять. Черт его знает, откуда он взялся и почему у него винтовка. Во всяком случае, Яшка решил, что никуда он с ним не пойдёт: Чулин не очень обрадуется, увидев их с кем-то еще.

— Значит, не по пути? — прищурил парень глаза. — Может, ты к эсерам записалась? Или к этим... как их... в «организацию юнцов», а?

— Никуда я не записывалась... — разозлилась Клава. — И не приставай, а то отцу скажу!

— Отцу? Ну, так бы и говорила, — захохотал тот.

Яшка увидел наползающие один на другой зубы, и ему стало не по себе.

— Значит, к отцу идете? Ну-ну... Видал я его утром, Павла Титыча. Привет тебе просил передать.

— Спасибо, без твоих передач проживу, — сказала Клава, поднимая узелок. — Пошли, Яшенька.

Так она назвала Яшку впервые. И он покраснел, увидев, как парень, оглядывая Клавино фигуру, отвернулся и хмыкнул: «Ну-ну...»

Уже пройдя шагов сто, Яшка спросил:

— Кто это?

— Мишка Трохов.

— А чего ты его... так?

— Пусть! За девчонками много бегает.

Яшка почувствовал за этим ответом что-то еще недоступное ему и то, что Клава понимает больше его. Это открытие удивило: Клава только на один год была старше. И все-таки... Искося поглядывая на нее, Яшка подумал: «Вот ты... какая...» Но какая — он так и не смог объяснить себе.

Внезапно он вспомнил, что именно к Трохову его посылал Пушкин: «Пойди к Трохову, он тебе найдет дело». Хорошо, что он тогда к нему не пошел.

— А чего он тут разгуливает? — спросил Яшка.

Клава пожала плечами:

— Не знаю. Может, на охоту пришел? Он у нас дома был несколько раз, отец его сильно ругал. «Ты, — говорит, — вместо того чтоб молодежь организовывать, за поселковыми девчонками ухлестываешь, а еще большевик».

— Разве он большевик? — удивился Яшка.

— Значит, большевик...

Его разбудили ночью. Чья-то сильная рука приподняла Яшку за плечи и встряхнула. Ничего не разобрав со сна, он закричал.

— Чего орешь? Тише, щенок...

Яшке показалось, что все это — только продолжение очень тяжелого сна. И лишь стоит проснуться, как все будет по-прежнему. Но ему уже заткнули рот. Он видел, как кто-то чиркал в темноте спичками, обламывая их, слышал сдавленный шепот:

— Не тяните. Люди могут проснуться...

Яшке было страшно, когда его несли. Крикнуть он не мог: в рот ему засунули тряпку, и он напрасно пытался вытолкнуть ее пересохшим языком. Когда его бросили на пол, он сумел вытащить кляп.

...В незнакомой пустой комнате у окна стоял стол, окошко было наглухо завешено одеялом. Люди расплывались у Яшки в глазах. Наконец он узнал одного из них: начальника милиции. Карякин до Февральской революции работал у Печаткина, в выходные дни ходил на танцы во фраке и цилиндре. Пожалуй, ни один работяга не получал столько, сколько он. И Чулин, провожая однажды взглядом расфранченного Карякина, сказал Яшке:

— Сукин он сын. В нем и рабочего-то ничего нет. Так — дрянь человек...

А теперь Карякин стоял, расставив ноги в защитного цвета галифе и кожаных рыжих крагах. Яшка, лежа на полу, видел только эти до блеска начищенные краги. Он вздрогнул, когда они приблизились к нему вплотную и когда сверху раздался тихий, ласковый голос:

— Ты прости, что мы с тобой... так. Обознались. Садись. Пить, наверное, хочешь? На...

Карякин сунул ему кружку, и Яшка взял, расплескивая воду.

— Да ты не бойся, Курбатов, — улыбнулся начальник милиции. — Валяй, пей...

Когда Яшка допил, Карякин, будто ненароком, спросил:

— Что, хорошая вода? А ты с перепугу и не разобрал. Небось у Чулина в землянке тебя такой не поили, а?

Яшка молчал. Карякин повторил:

— Не поили, верно?

— В какой... землянке?

— Да там, в лесу, — Карякин махнул рукой на окно. — Ты ж вчера ходил туда. Ходил ведь?

Яшка понял, чего ждал от него Карякин. Тот стоял отвернувшись, будто этот разговор его несколько не интересовал. Но по тому, как постукивал по крагам длинный ивовый хлыст, Яшка догадался: первничает.

— Никуда я не ходил. О какой землянке вы спрашиваете?

Теперь на Яшку в упор смотрели узкие глаза. Он видел, как вздрагивают тонкие ноздри начальника милиции и все сильнее белеют губы.

— Ты не запирайся, паренек, нехорошо это. Мы-то ведь знаем, что ходил. Дочка Павла Алешина с тобой была — Клава. Еще этого встретили... как его? Трохова. Было такое дело? Потом у седьмого железнодорожного знака передали Чулину и Алешину вещи. Верно ведь? И в землянку они вас к себе отвели. Правда ведь? Где она?

— Какая такая землянка?.. — упрямо прикидываясь дурачком, повторял Яшка.

Ему вспомнилось вдруг давнее: город, такая же пустая комната, оловянные глаза пристава...

Терпения у Карякина хватило ненадолго. Яшка инстинктивно закрыл локтем лицо. Он бился на полу под обжигающими ударами ивового хлыста и кричал: «Дяденька, не надо, не надо, дяденька... Я не знаю... я...» Кричал и знал, что ничего не скажет об этой лесной землянке, где сейчас сидит самый близкий ему человек — мастер Чулин, сидит и не подозревает ничего.

— Будешь говорить, щенок? — сверлил его ненавистный голос.

— Не знаю... Ничего не знаю...

Боль только ожесточила его.

Потом его сбросили с крыльца, и он, отлежавшись, с трудом поднялся и пошел куда-то по темной улице...

«Кто же выдал?» — внезапно подумалось ему. Но никто не мог ему на это ответить, и не у кого было спросить. Пустая улица лежала перед ним, да холодное, высокое небо, густо усыпанное звездами, раскинулось над головой.

Неизвестно, какими путями узнал Чулин о том, что Яшку били в милиции. Тит Титович, не найдя его на заводе, пришел в барак и, под каким-то предлогом услав на кухню старуху, жившую за перегородкой, помог Яшке подняться.

— Что, больно, адвокат? — сыпал он быстрым говорком. — Ну, да ничего. За одного битого знаешь сколько небитых дают? Крепче будешь. А что не сказал — молодец, ей-богу, молодец...

— А вы откуда всё знаете?

— Так ведь люди разные есть. Свой человек и сообщил...

— Кто же тогда...

Яшка не договорил. Мысль о том, что о землянке, где они были, могла проговориться Клава, ужаснула его. Тит Титович понял:

— Место-то никто не открыл.

По дороге, придерживая Яшку под мышки, старик перевел разговор на другое — на близкую осень, на грибы, которые растут в окрестных лесах в несметных количествах, и Яшка молча слушал его.

Они прошли весь поселок. Там, у крайнего дома, их ждала телега, и толстогубый мерин лениво помахивал хвостом, отгоняя мух. Незнакомый Яшке возница засуетился, подложил сена, заботливо подоткнул Яшке под бок какую-то рогожу и тронул вожжи. Мерин лениво мотнул головой и пошел. Тит Титович шагал рядом с телегой, держась за Яшкину руку. Белая рубашка его отсвечивала на солнце.

— Куда мы?

Старик долго не отвечал, шурился, жевал губами, а потом тихо сказал:

— В поселке сейчас тебе жизни не дадут. Значит, едешь к делу — и точка.

Как ни привык Яшка к частым и всегда неровным переменам в своей жизни, эта была совсем необычной.

На лодке Тит Титович подвез его к глиняному обрыву. Река, оmyвая его, становилась ярко-желтой. Старик, внимательно оглядевшись, подогнал лодку к самому берегу и воткнул в откос багор. Сразу же сверху полетела веревка. Она глухо шлепнулась в воду, подняв разноцветные брызги. Тит Титович подхватил ее и опять зачастил своей скороговоркой:

— Давай я тебя под микитку-то повяжу. Как потянут — руками держись, а ногами отталкивайся от земли. Крепкая веревка, не бойся. Ах ты, как они тебя разукрасили... Не больно так-то, а? Ну, прощай пока, адвокат. Клаве поклон передать, что ли? Лезь, лезь...

Там, в землянке, вырытой в обрыве, была типография. И когда Яшку подхватили руки Беднякова, Булгакова и дяди Франца, он расплакался, не стесняясь своих слез, чувствуя, что ему хочется что-то сказать, а слов нет, есть только радость...

Как они быстро прошли, эти три последних месяца! Облетел ивняк, маскирующий вход. Отсюда, сверху, взгляду открывались побуревшие разом поля, уходящие куда-то в дымчатую сиреневую даль. Роши на противоположном берегу реки пожелтели. По ночам высоко в звездном небе тянулись к югу косяки диких уток, и долго был слышен свист их крыльев в холодном осеннем воздухе.

А потом наступили ясные, солнечные дни, и в воздухе медленно поплыли сверкающие паутинки — пролетело и «бабье лето».

По ночам подмораживало, ветер стучал в крепкие ставни, которыми закрывалась землянка. Выглянув как-то утром, Яшка увидел, что река побелела под берегом: тонкий ледок сковал за ночь мелкие заводи.

Три месяца! Каждый день Булгаков, кончив набирать очередную листовку, ложился на нары, подзывал Яшку и рассказывал ему о Ленине, о революции, о том, зачем надо разогнать эксплуататоров. Яшка научился набирать на верстатке заголовки и печатать, прижимая рычагом к набору тяжелый пресс: «Товарищи рабочие! Больше ждать нельзя. Партия призывает вас взяться за оружие в нужный момент. Пришла пора, когда мы, веками бывшие в угнетении и несправии...»

Нередко он помогал дяде Францу и Булгакову спускаться на веревке в лодку винтовки...

Часто землянка пустела. Яшка, оставаясь вдвоем с Францем, лежал на жесткой, сколоченной из

неструганых досок скамье и слушал, как Франц тихонько играет на губной гармошке.

Как-то раз он неожиданно спросил его:

— Как ты сюда попал?

Франц расхохотался:

— Вспомнил! Давно вместе — сейчас вспомнил! Да так: айн, цвай, драй — и нет Франца.

— Сбежал? А разве ты тоже большевик?

— Нет. Я социаль-демократ. Как это... как эта рука? — Он поднял левую руку.

— Ну, левая.

— Вот. Левая социаль-демократ. Карл Либкнехт — слышаль?

Подбирая слова, он долго объяснял Яшке, кто такой Либкнехт, кто такие левые социал-демократы, и наконец Яшка понимающе кивнул:

— Тоже в общем вроде большевиков...

Ночью поодиночке возвращались жители землянки. Просыпаясь, Яшка слышал их голоса. Говорили шепотом. Булгаков сердился, а Чулин повторял: «Ах ты дьявол!»

Было ясно: у них что-то не ладится.

Как-то раз в землянке кроме Франца и Яшки остался заболевший Чулин. Накануне он промок и теперь сухо кашлял. Сидел злой, хмурый, осунувшийся и словно не знал, куда девать себя, чем заняться. То и дело он подходил к выходу и подолгу глядел на пустую реку.

Яшка понимал: нервничает. Он дернул Чулина за рукав и спросил:

— Что вы все... какие-то стали, дядя Гриша?.. Не такие, как всегда...

Тот улыбнулся через силу:

— Какие «не такие»?

— Ну, неразговорчивые...

Чулин задумался. Подняв голову, он встретился глазами с Францем и, медленно подойдя к нему, сел рядом на скамейку, устало растирая лицо ладонями:

— Плохо, Яша, дело. Провокатор среди нас появился. За последние дни — пять арестов. По баракам обыски... А время такое, что люди позарез нужны.

— Скоро? — спросил его Франц.

— Очевидно, скоро...

Чулин поднялся, зябко повел плечами и, что-то решив, направился к выходу.

Яшка загородил ему дорогу:

— Вы куда, дядя Гриша? Вам не велели.

Чулин хотел засмеяться, но зашелся в кашле:

— Ты ведь и сам... хочешь... чтоб другая жизнь началась? Чтоб все скорей было? А?

И обернулся к Францу:

— Подержи веревку, пожалуйста. Ребята придут — скажешь, я к шестерке пошел, проверю, достали ли они еще оружие. Ну, не скучать!

Он подмигнул Яшке и соскользнул вниз. Минуту спустя, сворачивая веревку, Франц задумчиво сказал:

— Карош революционер...

А Яшка думал о том, что вот сейчас Чулин с трудом пробирается сквозь глухую, промозглую ночь, чтоб скорее пришла другая жизнь...

И когда через несколько дней, в одну из ветреных октябрьских ночей, Яшку подняли с постели, он почувствовал: началось! Уже там, в лодке, Тит Титович прижал Яшку к себе, ткнулся колючим подбородком ему в щеку и, тихо рассмеявшись, сказал:

— К новой жизни едешь, адвокат. То-то! Стар я вот только... Обидно маленько.

И как ни была холодна эта ночь, как зловеще ни металась по небу черные, разлохмаченные тучи — только радость чувствовал Яшка, еще толком не зная, что это за новая жизнь, о которой говорит Алешин, и почему обидно ему думать о старости.

## 12

В большом доме, где жил, приезжая иногда из Петрограда, Печаткин, шел обыск. Яшка увязался за милиционерами — милиция в поселке теперь была новая, ее начальником ячейка большевиков и Совет рабочих депутатов назначили бывшего брендмейстера пожарной команды Лукина.

Затаив дыхание вошел Яшка в этот таинственный дом, спрятанный от посторонних глаз за высоким кустарником и деревьями. Он впервые видел такое бо-

гатство — золоченую мебель, ковры, разрисованные потолки, дорогие безделушки... Лукин, заметив его удивленный взгляд, усмехнулся:

— Что, брат, красиво? Теперь эта красота наша: клуб здесь устроим.

Когда милиционеры отодвинули тяжелый, мореного дуба шкаф, они увидели покрытую густой, свалывшейся паутиной старую калошу, пустые бутылки, пожелтевшие обрывки бумаги.

— Вот она, буржуазия, — усмехнулся Лукин. — Наверху красота, а под ней грязнота. Ну-ка, Яшка, дуй в завод к уборщицам, пусть приходят с тряпками и ведрами.

На улице Яшку остановил Чулин:

— Ты куда?

Тот сбивчиво рассказал ему о доме Печаткина, и Чулин, задумчиво улыбнувшись, отпустил его. Но Яшка не уходил: он почувствовал — Чулин чем-то озабочен.

— Вы чего, дядя Гриша?

— Да так, Яша. Понимаешь, дела-то какие... Меня комиссаром на завод назначили. Вроде бы тоже старые печаткинские калоши выносить надо... Да ты иди, иди...

Яшка помчался дальше.

У Чулина после назначения его комиссаром действительно появилось много новых забот.

Четырнадцатого ноября Советское правительство ввело рабочий контроль: новый декрет предоставлял право контроля над производством, куплей-продажей продуктов и сырых материалов, над их хранением. И, естественно, над всеми финансовыми операциями.

Общество фабрикантов и заводчиков, разумеется, не подчинилось этому декрету и разослало своим предприятиям циркуляр, в котором говорилось: «Предвидя, что русский пролетариат, совершенно не подготовленный для руководства сложным механизмом промышленности, приведет ее к быстрой гибели, общество отвергает классовый негосударственный контроль рабочих и предлагает, в случае предъявления на предприятиях требований о введении рабочего контроля, такие предприятия закрывать».

До поселка стали доходить слухи о саботаже, о том, что отдельные предприятия прекращают работу. Чулин ходил, поглаживая усы и хитро посмеиваясь:

— Ничего, пусть у нас попробуют!

И завод работал. Управляющий Ермашев, ужом извивавшийся перед Чулиным, казалось, из кожи лез, чтобы заслужить доверие новой власти. Григорий Михайлович догадался: Ермашев просто хочет сохранить завод! На одном из собраний ячейки Чулин высказал эту мысль, и большевики зашумели:

— Рассчитывает, что старые хозяева вернуться...

— Приедут — пожалте заводик, в целости и сохранности!

Чулину пришлось успокоить страсти:

— Во-первых, не пойман — не вор. А во-вторых, пусть ведет себя так же, как сейчас, нам это только на руку. Мы-то ведь знаем, что старые хозяева не вернуться. А вот когда и Ермашев поймет, тогда уж за ним будем глядеть в оба. Давайте лучше послушаем Трохова.

Трохов — это тоже была одна из забот Чулина. Трохову поручили руководить воспитанием молодежи, но дело это никак не налаживалось. Вот и на этом собрании молодежный вожак не смог порадовать старших.

Держась за спинку стула, то и дело подымая глаза к потолку, он начал перечислять, что сделано по организации Союза молодежи: работает «актерский кружок», ребят учат стрелять из винтовки...

— Маловато, — хмыкнул Алешин. — Я по своим сужу: Клавка Чарскую мусолит, а Яшка Курбатов мотается бог весть где.

Трохов, вскинув на него свои красивые, чуть раскосые глаза, небрежно пожал плечами:

— Они оба какие-то несознательные. Я говорил с ними, убеждал, а они не поддаются.

Чулин рассмеялся, откинув назад голову. Смеялся он так заразительно, что все, кроме Трохова, заулыбались.

— Не поддаются? А может, ты убедить не умеешь?

Трохов снова пожал плечами: дескать, ничего смешного не вижу.

— И вообще, — обиженно сказал он, — в этом Курбатове сидит какой-то мелкобуржуазный элемент.

Чулин нахмурился. Яшку он любил. Это была строгая и скрытая любовь одинокого человека. После того как он узнал, что Яшку били в милиции и ничего не выбили из него, Чулин почувствовал к нему почти отцовскую привязанность. Поэтому и ответил Трохову так резко, что тот в смущении замолчал:

— Вы в людях разбираетесь, как свинья в апельсинах.

Встречались они теперь с Яшей редко. На Чулина и Алешина свалилось столько разных дел, что в пору было только за полночь притащиться домой, поесть, что найдется, и свалиться спать. Алешин как-то заметил ему:

— Что, Михайлыч, революцию-то, выходит, легче было делать?

— Легче, — сознался Чулин. — А что Ленин говорит: «Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали — у богатых для бедных...» Ну, дальше как?

— Экзамен? — сощурился Алешин. — «Мы должны теперь Россией управлять».

— Вот и управляй, — отозвался Чулин. — А что с хлебом беда — это, брат, нож острый.

Действительно, с хлебом становилось все хуже и хуже. Стояли холода, и люди мерзли в очередях. Иногда дня по три не выдавали положенной нормы — фунт в день. Хлеб был тяжелый, «с закалом» — овсяной колючей шелухой. Часто вместо хлеба давали колоб, или дуранду, так называли в поселке льняные и подсолнечные жмыхи. Многие ходили на заметенные снегом старые картофельные поля, искали в мерзлой земле гнилые клубни. Последние вещи несли в деревню: меняли на картошку, крупу, хлеб. Ели конину.

Однажды Чулин, войдя в цех, застал там двух рабочих. Они что-то быстро спрятали в карманы. Он сделал вид, что ничего не заметил, заговорил о делах, о том, что надо расширять больницу и открыть школу для взрослых. Рабочие слушали молча. Наконец один решил:

— Ты лучше вот что скажи, комиссар: Советская власть долго нас будет голодухой жать? Уже животы подвело.

— Знаю. С хлебом пока трудно.

— Пока? — ухмыльнулся другой. — Ну вот, и мы пока...

Он вытащил из кармана пригоршню зажигалок и протянул Чулину:

— Возьми, комиссар. Поменяешь на хлеб. Сам желтый стал, ровно японец...

Чулин посмотрел на него медленным, тяжелым взглядом и, ничего не сказав, пошел к выходу. Проходя мимо инструментальной мастерской, он заглянул туда и издали увидел, как Яшка, склонившись над тисками, опиливает косарь, какими в деревне щиплют лучину. Он не замечал Чулина, а тот долго глядел на него с тоской.

В поселке ребята резались в «стенку» с утра и до вечера. Монету ударяли о стену, а потом «натягивали четвертью» — большим и указательным пальцами. И если доставали до обеих монет, то они считались выигранными.

Однажды ребята играли в обеденный перерыв. Вошли в азарт и решили остаться после работы. Среди подростков был Васька Матвеев — семнадцатилетний подручный слесаря, первый хулиган в поселке. Он-то и предложил сыграть «по крупной».

— А то никакого интересу нету. Так хоть тот, кто выиграет, брюхо набьет. Ну, Курбатов, будешь?

Яшка не хотел отставать от компании и начал играть.

Вначале ему везло: он выиграл больше рубля мелочи и две «керенки». А потом проиграл все — не только деньги, но и ремень с пряжкой. Матвеев предложил сыграть на казенный инструмент, и Яшка, подумав, согласился: он проиграл взятые на марки из кладовой штангенциркуль, набор небольших сверл, три метчика и свой собственный нутромер.

Лицо у него горело так, будто ему надавали пощечин. В пальцах появилась дрожь. Ему казалось, что он сейчас разревется. Матвеев ухмылялся, рассказывая по карманам выигранный инструмент, и, ко-

гда Яшка снова предложил ему сыграть, осклабился:

— Штаны ставишь?.. Или нет... Если проиграешь, пойдешь со мной на деревню. Вроде как бы носильщиком. Что дам, то и понесешь. Ну?

Они сыграли, и Яшка снова проиграл. Матвеев, исчезая, погрозил ему пальцем:

— Завтра пойдем. Будешь рыпаться — прибыю.

«Что же я наделал? — думал Яшка ночью. — Хватятся инструмента, а его и нет... Отнять у Матвеева? Убьет насмерть. У него финка в кармане. Сказать взрослым — стыдно...» Сон был неспкойный. Он встал с тяжелой головой, будто и не спал всю эту ночь.

Утром Матвеев ждал его под окном, лениво потягивая толстую, в палец, сигарку.

Из деревни они возвращались часа через три. Яшка торопился попасть к смене и, тяжело дыша, из последних сил тащил мешок муки и бутылку с самогоном. Матвеев, шагая рядом и чертя прутиком по снегу, говорил:

— Ничего житьишко с новой-то властью! А только, парень, все едино: каждый про себя думает. Вот и я тоже — сыт и нос в табаке. Постой-ка...

Он взял у Яшки бутылку и начал пить. Острый кадык заходил под грязной кожей. Потом протянул спутнику:

— Хлебни. Греет.

Яшка давно не ел. Самогон ударил ему в голову, ноги перестали повиноваться. Он плохо помнил, как добрался до барака.

Очнулся он на своей постели. Во рту была горечь. Голова трещала. Яшка вышел на улицу и побрел к заводу, с омерзением вспоминая запах самогонки.

Его мучил стыд, когда он входил на заводской двор, еще не представляя себе, как будет смотреть людям в глаза, что скажет мастеру. Пока он шел к уборной, навстречу ему никто не попался. Умылся холодной водой, сунул голову под кран, напился. Вода приятно холодила. Яшка постоял, подумал и нерешительно пошел в цех.

Вторая смена уже работала. На часах было без четверти шесть: он опоздал почти на два часа.

Неизвестно откуда, но все всё знали: его встретили ехидными улыбками и нарочито громкими словами:

— Ребята, алкоголик пришел!

— Что ж дальше будет? С малых лет самогонку хлещет! Растим вот таких...

Яшка повернул к выходу, но дорогу ему загородил мастер Мелентьев. Добрейшей души человек, он смотрел на Яшку как-то исподлобья, словно не зная, с чего начать разговор.

— Инструмент где? — тихо спросил он.

Яшка не ответил.

— Пропил? Ну что ж, иди... протрезвись — зеленый весь.

Яшка прожил два дня, как в тумане. На третий его вызвали к члену товарищеского суда, и он, не таясь, все рассказал: об игре, о Матвееве, о себе. «Чего скрывать? — подумал он. — Все равно ведь знают».

Действительно, старик Кижин, член суда, знал все: до Яшки у него были Матвеев и ребята, игравшие с ними.

На воскресенье в клубе было назначено заседание суда. Большая комната уже заполнилась, а люди все шли и шли, принося с собой морозный запах улицы. Яшка и Матвеев сидели на «скамье подсудимых» — двух табуретах с правой стороны от судейского стола.

Вышел суд. К ужасу своему, Яшка увидел, что на председательское место усаживается Тит Титович Алешин. Парнишке показалось, что старик зло посмотрел в его сторону. Покраснев, Яшка отвернулся.

Секретарь суда стал читать обвинительное заключение. Потом наступила томительная пауза. Когда Тит Титович надел очки и взглянул на «скамью подсудимых», он сделал вид, что впервые увидел там Курбатова.

— А, и адвокат здесь? Что же это получается? Я думал, ты скоро сам начнешь судить других. Плевакой будешь. А тут, на-ко, самого судить будут. Я, старый дурень, считал, что парень ты хороший, думал, жених будет моей внучке. Сватать за тебя Клавку хотел. А какой бы из тебя зять получился? Верно говорят — чистый алкоголик...

Яшка засопел, и Алешин повысил голос:

— Ты не хнычь. Плакать надо было тогда, когда

такое безобразие начинал делать! А теперь поздно, слезы все равно не помогут!

— Москва слезам не верит! — буркнул неразговорчивый финн Киуру.

— Скажи, Яша, часто ты играешь на деньги? — вдруг тихо спросил Алешин.

— Ни разу не играл, Тит Титыч, первый раз это было...

— Может, тебя кто принудил?

В голове Яшки вмиг пронеслась вся картина: как он не хотел играть, слова Матвеева — «сопляк», «шкет», неодобрительный гул ребячьих голосов...

— Нет, я сам... Сам виноват! Никто меня не заставлял.

Ему не хотелось никого выдавать. Да и, честно говоря, конечно, виноват он сам: кто мог насильно его заставить? Значит, воли нет... О силе воли он читал во многих книгах и знал, что ее нужно воспитывать.

А Тит Титович не унимался:

— Расскажи-ка ты, Плевака, как дело было, с чего все началось.

Яшка еле слышно начал рассказывать. Из зала послышалось:

— Громче, громче!

— Вы сами-то тише! Знаете, что голос он пропил, — язвительно сказал один из членов суда.

Яшка стал говорить громче.

— Ну, хорошо, — перебил его Тит Титович. — За инструмент тебе особо влетит. А ты мне вот что скажи: зачем самогонку пил? Ведь на два часа опоздал в смену! Да и то не работал, а в уборной отхаживался...

— Я попробовать хотел, что за первач такой. Интересно было, — тихо, чтобы не слышали другие, сказал Яшка.

— Ишь ты, попробовать! Что же это вы, когда из кладовки серную или какую другую кислоту несете, так не пробуете?

Вслед за Курбатовым допросили ребят и наконец Матвеева. Тот держался независимо, на вопросы не отвечал, а Яшке бросал сквозь зубы: «Сопляк он и есть».

Час спустя суд удалился на совещание. Никто не уходил — ждали, какой будет вынесен приговор.

Время тянулось мучительно долго. Наконец судьи вошли, и все, кто был в комнате, встали. Поднялся и Яшка — ноги его не держали.

Фома Иванович Кижин взял свои очки в железной оправе и неторопливо надел их. Потом начал читать:

— «Именем Российской Советской Республики суд, руководствуясь революционной совестью и сознанием, рассмотрел дело ученика слесаря Якова Курбатова в том, что он проиграл не свой, а принадлежащий заводу инструмент (далее следовало перечисление инструмента). Это является обкрадыванием молодого Советского государства и своих же рабочих завода. За такие дела, как и за воровство, Яков Курбатов подлежит строгому наказанию. Но, учитывая, что оный Яков Курбатов сам во всем чистосердечно признался, осудил свой поступок и обещал никогда больше его не повторять, и также учитывая, что этот поступок является отрыжкой старого, прогнившего строя, который развращал рабочих с малолетства, постановил: Якова Курбатова оправдать и предложить ему возместить заводу стоимость проигранного инструмента».

Он не поверил своим ушам. Его оправдали?! Судя по вопросам, он ждал самого тяжкого наказания...

— Подойди сюда, дурень, — сказал Алешин, хмурясь, но это было уже показное. — Подойди, не бойся! Что, попало, брат, тебе? Ну, ничего. На то и народ нас выбрал. Все ты понял, внучек, что здесь было?

— Понял, Тит Титыч...

— Ну, теперь иди. — Старик взлохматил Яшке прилипшие ко лбу волосы.

На партячке — этого Яшка не знал — снова обсуждали работу Трохова. Большевики взгрели его крепко: за плохую организацию молодежи, за то, что такие ребята, как Курбатов, стали делать бог весть что.

Идя с Алешиным с заседания домой, Чулин грустно сказал:

— Кругом мы виноваты. Был парень с нами — не на радуешься. Упустили мы его — не наплакаться.

Если Трохов и дальше будет так работать с молодежью, поставлю вопрос о его пребывании в партии.

— Не очень-то он много и раньше делал, Трохов, — ухмыльнулся Алешин. — Не помню я, чтоб ты на него прежде радовался.

— Что? — Чулин чертыхнулся. — Так я ж не о нем говорю! О Яшке! Перед ним мы с тобой виноваты, что он беспризорником стал. А Трохов...

Чулин, не договорив, остановился и поглядел Алешину в глаза:

— Знаешь, Павел Титович, о чем я думаю? Измутился весь. Кто мог указать на людей, которые нашу землянку знали, а?

— Подозреваешь? — тихо откликнулся Алешин. — Трохова ведь тоже Карякин бил...

— Стукнул основательно, он и выдал... Ладно, не было у нас с тобой этого разговора. Подозрения — не доказательства...

## 13

Яшка всегда любил весну, когда воздух полон особенных, необъяснимо волнующих запахов.

Эта весна была трудной. Как-то пусто стало на заводе: многие ушли на фронт, и Яшке оставалось только жалеть, что его считают еще неспособным воевать. Было голодно по-прежнему, и по-прежнему, возвращаясь домой в простынувший барак, где по углам серебрился иней, Яшка валился на свой топчан с одной мыслью — поскорее уснуть...

И в этот раз перед сном он подумал о завтрашних делах: после работы — спортивная секция в Союзе молодежи, заезжий акробат будет показывать упражнения. И не очень хочется идти, а надо: Трохов назначил его старостой и записал в свою тетрадь: «Я. Курбатов хочет закалять тело для пользы грядущего». Закаляй, когда в животе урчит!

Но долго ходить на эти занятия Яшке не пришлось...

Мастеру вечерней смены Мелентьеву позвонила уборщица из конторы заводоуправления и сказала,

что засорилась канализация и вода в раковинах не проходит.

Последнее время Яшке поручали выполнять многие работы. И мастер послал его посмотреть, что стряслось в заводууправлении.

Придя в контору, он заглянул к уборщице, чтобы узнать, где искать повреждение. Уборщицей и сторожихой была толстая, уже много лет работавшая, острая на язык тетка Поля. Говорили, что она так сторожит контору, что из нее в любое время можно вынести все вместе с управляющим.

...Яшка окончил работу, выключил свет и вышел в коридор. И здесь он увидел, что по лестнице поднимается какой-то человек. На нем был френч военного покроя и хромовые сапоги. Такого в поселке Яшка не встречал: от одного его вида становилось как-то жутко.

Прижавшись к стенке, парнишка стал вспоминать, на кого же похож этот человек? И вспомнил: в губернском городе, в музее, он видел чучело совы. Лицо незнакомца было именно таким.

Человек прошел по коридору к кабинету управляющего. Тревожное любопытство охватило Яшку. Этот поздний визит никому не известного лица показался ему явно странным. В памяти зашевелились разные страшные случаи, о которых он читал в книгах, взятых у ребят. Осторожно ступая, Яшка направился к дверям, за которыми скрылся посетитель.

За перегородкой, в кабинете, слышались голоса. Люди разговаривали тихо, но слова можно было разобрать.

Яшка узнал голос Ермашева:

— Сегодня ночью все будет кончено. Завод поработает еще неделю.

— Кто исполнители? Как организовано? Мы должны действовать только наверняка, — говорил другой, глухой и скрипучий голос.

— Банки с керосином и тряпки... Люди надежные... Подготовкой руководит... Может, знаете? Долгалов. Ну, сын хозяйского подрядчика, лесопромышленника...

— Когда начнут? По какому сигналу?

— В час ночи. Махнут три раза фонарем.

— Что предусмотрено на случай провала? Кто знает о вашем участии в операции? — продолжал спрашивать скрипучий голос.

— Провала не будет. «Товарищи» очень беспечны. Штабеля сухие... лежат больше двух лет. На случай... у каждого... порох.

Яшка понял, что речь шла о поджоге огромной лесной биржи, где хранились двух-трехлетние запасы для выделки целлюлозы, дрова для кочегарок электростанции, дающей заводу ток... «Скорей! Предупредить всех...»

Разговор за дверью продолжался. Яшка словно прирос к полу.

— Мы недовольны...

— Я сам и шагу ступить не могу. За мной следят. Бухгалтер Сидор Павлович запутал все книги, так этот комиссар что-то подозревает, уже спрашивал меня...

— Мы накануне великих событий, накануне избавления нашей России от этих... «товарищей».

— Дай-то бог, скорей бы... Вы знаете, полковник, как мне противно делать умильное лицо и подавать руку этим хамам...

Вдруг голоса замолкли, и через мгновение дверь, у которой стоял Яшка, рывком открылась. Яшка, не удержавшись, повалился на пол. «Полковник» бросился на него и зажал рот рукой. Яшка укусил его за пальцы. Застонав, человек выпустил его. Яшка бросился к окну, но незнакомец преградил ему путь и сильно вывернул левую руку: в плече что-то хрустнуло, и рука повисла как плеть. Тогда Яшка вцепился ногтями правой в лицо «полковника», стараясь попасть в глаза. Но вдруг что-то тяжелое, тупое ударило по голове. За шею потекла теплая струйка, в глазах потемнело, и Яшка медленно стал оседать на пол.

Потом, словно сквозь сон, он услышал, как где-то далеко разговаривают двое.

— Что делать с ним?

— По-моему, он скопытился...

Кто-то стал щупать пульс.

Яшка попробовал напрячь память, но ничего не вспомнил и снова упал в черную пропасть...

Когда он очнулся, никого не было. Внутри все горело, нестерпимая боль разрывала затылок. Он хотел было встать и не смог. Опять в глазах вспыхнули разноцветные круги. И, боясь снова потерять сознание, Яшка стал кричать: голос был слабый, чужой.

Он лежал на сырой земле, в какой-то глубокой канаве. Стояла ночь. Потом он полз по жидкой грязи. Отдыхал и полз снова. Ему показалось, что делает он это очень медленно. Несколько раз он снова пробовал кричать, но его никто не слышал.

Он дополз до мостика. Здоровой рукой схватился за его край, с трудом выбрался на дорогу. В нескольких шагах высился телеграфный столб с косыми подпорами. Яшка немного полежал около него, пока утихла боль, затем, схватившись за подпору, встал — и снова рухнул на землю.

...Очнулся он в комнате, на диване. Над ним склонилось испуганное лицо Лукина. Кругом стояло еще несколько человек, тоже знакомых.

— Что с тобой, сынок? — тихо спросил начальник милиции.

— Сколько времени? — выдохнул Яшка.

Лукин поднес к его глазам большие карманные часы. Было без четверти двенадцать.

— Ой, хорошо...

Сбиваясь, путаясь, Яшка рассказал все, что с ним произошло, рассказал о том, что через час загорится лесная биржа.

Лукин бросился к дверям и уже с порога крикнул:

— В больницу его! Осторожней!

В течение каких-нибудь пятнадцати минут на заводе были проведены летучие митинги, и около пятисот рабочих вечерней смены двинулись на биржу.

Им удалось поймать семь поджигателей, ждавших сигнала. Трое убежали. Их схватили на другой день. Нашли и бидоны с керосином, тряпки, порох. Ермашев и Долгалов были арестованы.

Вначале управляющий все отрицал. Но, поняв, что его карта бита, выложил все начистоту.

«Полковника», к сожалению, не поймали...

Вскоре вместо Ермашева красным директором был назначен комиссар завода Чулин.

Когда Яшку принесли в больницу, он бредил. Врач внимательно осмотрел рану на голове, вывих, распухший, посиневший бок. Диагноз был нехороший: сотрясение мозга с переломом черепа возле самого темени. Левая рука вывихнута в плече. В правом боку сломано ребро. На всем теле много кровоподтеков.

В больницу никого не пускали. Но Клава потребовала от отца — председателя завкома, — чтобы тот поговорил с заведующим больницей.

— Да пойми ты, — уговаривал ее Алешин. — Нельзя к нему сейчас.

— Ничего не хочу понимать, — плакала Клава. — Буду ходить за тобой повсюду и, хоть убей, не отстану.

И Алешин сдался.

...Клава вошла в палату и сразу увидела Яшку. Он лежал на спине, голова была забинтована, глаза закрыты, губы на восковом лице почернели. Но видно было, что Яшка дышал, хотя дыхание было едва заметно.

Клава села у кровати, долго смотрела на Яшку, потом взяла его здоровую руку и нащупала пульс. Она то поправляла подушку, то вливала в распухший рот лекарство. Ее никто не просил уйти. Утром врач поинтересовался у нее: «Как вел себя Курбатов?»

На другой день пришла в больницу бабушка Марфа. Узнав о состоянии Яшки и о том, что Клава просидела у его постели всю ночь, она заплакала и попросила передать внучке узелок с лепешками.

Клава провела в палате и вторую, и третью ночь. Спала она днем, урывками, на стульях в углу больничного коридора.

Шла четвертая ночь... Состояние Яшки по-прежнему было тяжелым. Клава тихо плакала. Поправляя подушку, она наклонилась над ним и осторожно поцеловала в видневшийся из-под повязки лоб.

И вдруг Яшка открыл глаза и застонал. Клава выбежала в коридор.

— Очнулся... Очнулся!

Врач, сестра и санитарка быстро вошли в палату.

Яшка лежал, по-прежнему закрыв глаза, и только в уголках губ была едва заметная улыбка.

В поселке быстро узнали, что Курбатов поправляется.

К Яшке приходили старые рабочие. Они беседовали с ним, как с большим, и ни разу не упомянули, что он совершил что-то героическое. Яшка и сам был уверен, что сделал самое обычное дело.

Ему приносили в больницу все необходимое. Хотя в поселке голодали, у него были масло, белый хлеб, сахар, его кормили мясным бульоном.

Как-то пришла в больницу тетка Поля — уборщица конторы. Она принесла какой-то сверток, а когда развернула его, все увидели ощипанного петуха.

— На-ко тебе, сынок... Ишь, ироды, как тебя разукрасили!.. А я-то этой змее, Ермашеву, еще чай подавала. Обходительный такой был, гадина. Вини меня, паренек. Я виновата, что тебя так избили. Надо было мне наверху остаться, может, ничего бы и не произошло...

— Что ты, тетка Поля? Тогда хуже было бы. Биржа бы сгорела, не накрой мы эту контру, — утешал ее Яшка.

— И-н-и, не говори... Я... я виновата. Ведь как дело было? Свела тебя наверх, вернулась к себе, набросила на парадную дверь крючок, да и легла. А они тебя через заднее крыльцо вынесли... А кочета пусть тебе сварят — больно полезен для здоровья куриный суп.

Зашел к нему и Григорий Михайлович Чулин, поцеловал и, ласково поглаживая бескровную Яшкину руку, спросил:

— Что, трудно? Знаю, что трудно. Терпи, малыш. Видишь, сколько тут у тебя всего? — показал он на тумбочку. — Люди не забыли...

Он немного помолчал, словно собираясь с мыслями.

— Вот так-то, Яша... Поправляйся скорее, я еще к тебе зайду. Мне, брат, тоже трудно. Был я мастером, а сейчас партия поставила меня управлять заводом...

Чулин, прощаясь, сказал, что еще один посетитель ждет очереди, но кто — не объяснил.

Это был Тит Титович. Со времени суда Курбатов всячески избегал встречаться с ним.

Тит Титович принес гостинец — перышки зеленого лука, выращенные в горшке на подоконнике.

— Это тебе, адвокат. Поешь. Больше принести нечего, да и внучка говорит, что у тебя, как у буржуя, все есть.

— Есть, есть... Мне ничего не надо, — забормотал Яшка, краснея.

Старик лукаво клопил голову.

— Чего краснеешь-то? Не рад, что пришел, а?

— Да нет, что вы, — опять забормотал Яшка. — Это я так... Мне... мне стыдно, вот что.

— Чего тебе, дурной, стыдиться-то?

— Да ведь судили вы... — тихо ответил Яшка.

Старик сидел, потирая колени и пожевывая бесцветными губами.

— Вот оно что! Стыд, Яша, — неплохое чувство. Всего нехорошего стыдиться надо. А тебе сейчас чего стыдиться? Все уж давно прошло. Или после этого еще где первача хватил?

— Что вы, Тит Титович, я и в рот его больше никогда не возьму!

— Уж и «никогда не возьму!» Не зарекайся, может, и возьмешь когда-нибудь. Только, Яша, всегда про стыд помни. Будет стыд — так и первач не осилит, не свернет с дороги. Знаешь, как говорят: пей, да ум не пропей. Всегда все с умом делать надо. И к маленькому делу тоже с умом подходи. Велика ли рюмка? А если ты ее не вовремя выпьешь — обязательно сгубит она. Сам не заметишь, как сгубит. Все ведь с малого начинается. Вот от спички целую биржу хотели сжечь. А на ней столько леса, что заводу еще на два года хватит. Понял, что значит малое-то?

— Понял, — сказал Яшка.

Но старик был настроен ворчливо.

— Не говори, не подумав: «Понял, понял!» Ничего ты еще не понял. Душой это надо понять! Делать тебе тут нечего, ты лежи и размышляй, что тебе старшие говорят... А не думал я о тебе, адвокат, что ты такой... Ермашев на допросе рассказывал, как ты этого полковника отделал. Говорит, как волчонок

какой — глаза горят, аж страшно! Ты этому полковнику всю фотографию разрисовал...

— Наверное, решил, что ты герой? — вдруг спросил Алешин. — Герой-то герой, а только подумай, почему таким стал?

Последние слова он почти выкрикнул, зачем-то погрозив Яшке кулаком. И тот, не выдержав, рассмеялся, с болью растягивая губы.

— И хорошо, что понял, — примирительно закончил Алешин. — Клавка у тебя бывает? Чего краснеешь? Подрастете, тогда и поженим вас. Может, и я до этого доживу.

— Что вы, Тит Титович! — заикаясь произнес Яшка.

— А что? — с невинным видом удивился старик. — Сам внучку за тебя сватать буду. Согласен?

Яшка молчал... Алешин добродушно хлопнул его по здоровой руке:

— Ладно, не буду больше. Поправляйся.

После его ухода Яшка долго лежал, закрыв глаза, и чувствовал, как что-то светлое поднимается в нем, чему он еще не мог дать названия.

За несколько дней до выписки к Яшке зашли мастер Мелентьев и знакомый слесарь из цеха.

— Ну, поправился? — спросил мастер.

— Давно, дядя Ваня, да вот врачи не выпускают. Все полежи да полежи. А мне надоело.

— О чем соскучился-то? По работе или еще по чему?

— И по работе и по всему. Надоело мне здесь. От меня так больницей пахнет, что и не отмоешь.

— Вот насчет работы мы к тебе и пришли. Давай, Сидор, вынимай акт.

Мелентьев, далеко отставляя от себя бумагу, прочитал акт, по которому Яшка, учитывая его старание, полученные знания и навыки по слесарному ремеслу, переводился из учеников в подручные слесаря по четвертому разряду.

— Рад? — спросил Мелентьев.

— Очень. А уж если я чего и не знаю, так спрошу, поможете ведь?

— Как, Сидор, поможем?

— Поможем.

— Завтра же выпишусь, — заторопился Яшка.

Он пролежал два месяца. Рука и правый бок поправились совершенно. А в голове еще стоял шум.

В эти дни, в больнице, он понял, что детство, каким бы оно ни было, кончилось. А та жизнь, в которую он вступал, будет уже совсем другой.

## 15

Когда на заводе были прикрыты все эсеровские организации, руководимый эсером драматический кружок почти в полном составе влился в организацию Социалистического союза молодежи. Таким образом, в союзе была и рабочая молодежь, и дети местной интеллигенции — начальников отделов, инженеров, служащих. Даже сын и дочь попа, сын дьякона из церкви села Воскресенье считались членами заводского союза! Рабочие в ячейке держались в стороне от них. Те подчеркнуто брезгливо косились на рабочих.

Двадцать девятого октября 1918 года в Москве собрался первый Всероссийский съезд молодежных организаций, работающих под руководством партии большевиков. Делегатом от заводского союза рабочей молодежи на съезд поехал председатель ячейки — Трохов.

Трохов вернулся из Москвы, и на дверях клуба появилось объявление: «Назначается общее собрание ячейки РКСМ». Все интересовались, что это такое — РКСМ, и Трохов снисходительно объяснял: Российский Коммунистический Союз Молодежи.

В президиум собрания среди других был избран Валя Кият, паренек, который работал в инструментальном цехе. Большеголовый, с упрямым и даже, пожалуй, каким-то жестким выражением темных глаз, Кият нравился Курбатову, хотя они ни разу не разговаривали как следует. И Яшка с любопытством наблюдал, как Кият деловито перебирает на столе президиума какие-то бумажки и о чем-то шепчется с секретарем — Клавой Алесиной.

Трохов, то и дело поправляя шелковистые, спадающие на лоб волосы и глядя куда-то поверх людей, сделал доклад о Всероссийском съезде. Говорить он

умел складно, и все было ясно: зачем созвали съезд, как он проходил, почему Союз стал именоваться Коммунистическим, каковы взаимоотношения Коммунистического союза с партией. Трохов рассказал, кто избран в состав ЦК комсомола, кто председатель Центрального Комитета... Потом он выпил стакан воды и, взглянув в зал, развел руками:

— Доклад окончен, товарищи. Ежели есть вопросы — валяйте...

Первым задал вопрос Силаков, сын заведующего расчетным отделом завода:

— Вот ты говоришь — большинство, большинство... А если я не согласен с большинством, если у меня свое личное мнение есть, то я буду подчиняться этому большинству? Это же насилие над личностью!

С мест закричали:

— Правильно!

Долговязый сын попа, Ершин, спросил:

— Если я не желаю изучать коммунистическое учение, а вот в драмкружке хочу быть, танцевать хочу — тогда что?

Опять кто-то крикнул:

— Правильно! Нас большевиками хотят заделать.

— Вот мы и не согласны! — пробасил Ершин.

Завитая барышня Тузова, игравшая в драмкружке роли любовниц, сказала обиженным голосом:

— Кто разрешит, чтобы вмешивались в личную жизнь? Кому какое дело, являюсь ли я в личной жизни примером? А может быть, и не являюсь?

В зале засмеялись:

— Пример, как хахалей каждую неделю менять...

— Так на то она и любовниц играет!

Валя Кият с трудом водворил порядок и кивнул Трохову:

— Будешь отвечать?

— На такие вопросы не отвечают! Кому отвечать?

Этим...

В зале зашумели, зашущукались. Яшка видел, как покраснела Клава. Услышав неподалеку спокойно сказанное «дурак», он обернулся и увидел старика Пушкина, поднимавшего руку:

— Эй, товарищ председатель, дай мне словечко сказать!

Он не торопясь подошел к столу президиума и, взглянув на ухмыляющегося Трохова, качнул головой:

— Не прав ты, парень! Спрашивают — значит, интересуются. А коли так — отвечай, всем впрок пойдет. Он повернулся к залу:

— Вот приведу я вам самый простой пример. Сидят в лодке десять человек. Вдруг двое начали сильно раскачивать лодку, да так, что она стала бортом воду черпать. Большинство требует прекратить это безобразие: мол, кувырнется лодка. А эти двое заявляют: «Нет, мы не согласны с вами, нам так больше нравится. У нас тут свое мнение». И что же? Лодка опрокидывается. Ну, что вы скажете? Наверное, скажете, что это хулиганство. А в жизни и не так бывает. Вот в октябре семнадцатого года большевики обсуждали вопрос о вооруженном восстании в Питере. Все были за немедленное восстание, только Зиновьев и Каменев с этим решением были не согласны. Тоже говорили: у нас на этот счет свое мнение. Они не подчинились большинству и выдали буржуазии планы восстания. Товарищ Ленин заклеил позором предателей. Так вот, друзья, принцип подчинения большинству — основной принцип поведения членов партии большевиков. Без этого общего дела не сделаешь. А комсомол, как говорится в Программе, «всецело поддерживает и проводит Программу и тактику РКП(б)», а уж если поддерживает, значит, и следует за партией и делает так, как этого партия требует. Ну, а коли Ершин, скажем, не хочет изучать коммунистическое учение — что ж, и не надо. Потеря невелика, если потеряем такого кулика...

— Пускай он закон божий изучает, как святая дсва Мария без мужа рождает!

Пушкин переждал, пока снова наступит тишина, и продолжал все так же ровно, будто не речь говорил, а беседовал дома, за самоваром:

— Вот барышне Тузовой тоже отвечать вроде бы нечего, с места ей ответили. И все же, посудите сами, что будет, если вы примером не станете? Будете пьянствовать, воровать, на работе лодыря гонять — что другие скажут? «Раз им можно, так нам и сам бог велел!» Соображайте!

Когда он кончил, Ершин, Силаков и Тузова поднялись. Силаков крикнул:

— Мы уходим! Мы не согласны, чтобы чинилось насилие над личностью. Где же свобода?

Все вскочили со своих мест, гóлоса председателя уже не слышал никто. Разобрать, что говорили им ребята, было нельзя, но явно что-то обидное, злое, смешливое.

Кият, не сдержавшись, крикнул сам:

— Скатертью дорога! Баба с возу — кобыле легче! Проситься будете — не возьмем. Может, еще есть желающие? Давайте, воздух чище будет!

Тогда поднялся Трохов:

— Видали, кто был вместе с нами? Наверное, еще найдутся такие. Партийная ячейка рекомендует нам всех, кто был в Союзе молодежи, не зачислять механически в комсомол, а устроить перерегистрацию или проще — открыть запись в члены комсомола вновь. Каждого, кто запишется, обсудить на собрании. Чтобы не тянуть, давайте сейчас собрание закроем, запишем желающих вступить в комсомол, а завтра будем персонально обсуждать каждого.

Яшка стал пробираться к столу президиума, за которым шла запись. Его оттесняли в сторону. Каждый стремился записаться пораньше, будто что-то вдруг может измениться и его имя не попадет в списки.

Но когда Яшка, потный, взлохмаченный, протиснулся наконец к столу и крикнул Клавье: «Меня запиши!», он увидел вверху почти заполненной страницы свое имя, выведенное круглым Клавиным почерком.

— Ты... уже? — спросил он, чувствуя, как перехватывает дыхание. Его торопили, подталкивали, а он все не отходил. «Помнила... Первым записала... Самым первым!»

На следующий день перед открытием собрания ребята пели песни. Принесли гитару, появились мандолина и балалайка. Когда заиграли «Яблочко», в круг выскочил парнишка, токарь из механического, и пошел вприсядку. Кто-то на этот мотив уже сочинил частушки:

Эх, яблочко, катись под елочку —  
Комсомолец полюбил да комсомолочку!

Из другого конца зала живо откликнулись девчачьи голоса:

Нам сказали на базаре,  
Что мальчишки дешевы:  
На копейку десять штук —  
Самые хорошие.

За весельем никто не заметил, что делает на сцене Клава Алешина. Подозвав Кията, она пододвинула ему тяжелый сверток и, еле сдерживая смех, сказала: — Это тебе...

Кият развернул бумагу: в свертке была медная ступа и пестик. Председатель вскинул на Клаву настороженные глаза.

— Значит, мы здесь воду в ступе толчем?

Клава прыснула.

— А ты постучи пестиком о ступу! Ну постучи, не бойся...

Кият стукнул. По залу разнесся гулкой звон. Поняв, в чем дело, засиявший Кият начал трезвонить, да так, что сразу смолкли песни. А те, кто был возле председательского стола, морщились, затыкая уши:

— Кончай благовест!

Ступа эта долго еще появлялась на собраниях, и когда кто-нибудь начинал мямлить или повторяться, председатель хватался за пестик. Это означало: закружляйся! И выступающий «закружлялся».

Теперь, водворив тишину, Кият взял в руки список:

— Начинаем обсуждать кандидатуры, товарищи. Первый идет Яков Курбатов. Ну как, отводы есть? Выступления будут?

— Да чего там, дальше давай!

— Пусть расскажет о себе!

— Не надо!

— А про самогонку? А как инструмент проиграл?

Алешинская ступа гудела, покрывая голоса. Возле стола президиума уже стоял, одергивая выцветшую солдатскую гимнастерку, Мишка Трохов.

— По поручению ячейки большевиков, — сказал он, — предлагается Якова Курбатова в списке оставить. Хотя от себя лично посоветую ему пересмотреть свои порочные мелкобуржуазные позиции.

Яшка вскочил:

— Какие позиции? Чего ты треплешься?

— Вот, вот, — кивнул Трохов. — Недисциплинированность — одно из ярких проявлений буржуазной стихии, чуждой рабочему классу.

Он пистолетом выставил на Яшку указательный палец:

— Изживать это надо, товарищ Курбатов.

— Это ты от себя говоришь или от ячейки большевиков? — строго спросил Кият.

Трохов пожал плечами:

— А в чем, собственно, разница? Я член ячейки.

Кият предложил голосовать, напомнив собранию о том, что не кто-нибудь, а именно Курбатов предотвратил на заводе диверсию.

За Курбатова голосовали все. Но когда Кият спросил, кто воздержался, Яшка увидел, как Трохов поднял руку.

— Ты что? — удивленно спросил его Кият. — Только что рекомендовал...

— Личные мотивы, — отрубил Трохов. — Имею право не объяснять.

Яшка ничего не понимал. Ясно было одно: то неприятное ощущение, которое возникло у него при встрече с Троховым еще там, возле лесного ручья, было взаимным. Но почему — не мог объяснить. Он плохо следил за тем, как обсуждают других. Спыхватывался и начинал слушать. Но снова задумывался...

Уже поздним вечером, идя с Клавой домой, он не удержался и спросил:

— Слушай, а что это Трохов... так?

— Как «так»? — рассмеялась Клава. — Насчет «личных мотивов»? Да ведь...

Она запнулась.

— Говори, раз начала.

— А чего говорить-то? Он тут ко мне начал приставать, я его отшила. Он спрашивает: «С Яшкой ходишь?», а я и сказала: «Ну и хожу, тебе-то что?»

— И все? — Яшка остановился в недоумении. — Но ведь он... Он же партийный. Как же так?..

Уже дома, лежа на своем топчане, Яшка снова вспоминал слова Клавы и раздумывал над тем, что и большевики, должно быть, есть разные. Чулин не похож на Алешина, Мелентьев любит выпить, Бедняков — балагур... Но они все-таки близки друг другу. А Трохов... совсем другой.

— Раз, два! Раз, два! Рота-а, стой! К но-оге! — раздается команда.

Это комсомольцы на пустыре за заводом проходят военное обучение. Скрипит снег, мертвенным светом освещает крыши луна. Однако ребятам тепло. Они бегут в атаку на воображаемого противника, изучают ружейные приемы. После команды «вольно!» слышится смех, кто-то начинает «греться»: на мягком, пушистом снегу завязывается борьба. Весело!

В одной из комнат клуба ребята, сидя на корточках, изучают пулемет. В другой — девушки учатся делать перевязки, оказывать первую помощь при ранениях и контузиях. Они ловят какого-нибудь зазевавшегося парня, тащат к себе в комнату и на «живом экспонате» проверяют свое умение. Горе ему, замучают! Особенно если из рваного валенка покажется грязный палец. Уж лучше бегом идти в атаку и, услышав пулемет-трещотку, падать, зарываясь с головой в снег.

Фронт приближался. При партячейке организовался отряд ЧОНа\*, в него записались все коммунисты и комсомольцы.

За Яшкой были закреплены кавалерийский карабин и револьвер системы «смит-и-вессон». Он выпросил его у начальника отряда Чугунова — ходил за ним по пятам до тех пор, пока тот не разозлился и, чтобы отвязаться, дал. Яшку зачислили на должность конного ординарца при командире и комиссаре отряда.

Конный двор занимал большую территорию на краю поселка. Там стояли и выездные рысаки, служившие еще бывшему начальству. Сейчас на них ездил красный директор завода Чулин. Яшка в глубине души рассчитывал получить такого рысака, но дали ему спокойного и добродушного белогубого мерина. Звали его Рыжий. Эта лошадь имела одну особенность. Когда-то на ней сельский купец-лавочник ездил за товарами в губернский город. Одно время на дорогах пошаливали, и лавочник — мужик хитрый — научил лошадь особому маневру: стоило крикнуть «Рыжий, грабят!», как она срывалась в галоп и неслась сломя голову.

---

\* Ч О Н — части особого назначения.

Яшка никогда не имел дела с лошадьми и поначалу подходил к Рыжему с опаской. Но тот спокойно вытягивал мягкие губы: любил, когда ему перепало что-нибудь.

У раненых красноармейцев новоиспеченный связной выменял на махорку буденовку. И вот в островерхом шлеме он проезжал теперь по улицам на своем Рыжем, закинув за спину карабин и с гордостью ощупывая холодную сталь «смит-и-вессона».

Но недолго гарцевал Яшка на своем коне, вызывая зависть у заводских парней.

В один из весенних дней заводской гудок оповестил жителей поселка о митинге. В цехах остановились моторы, рабочие выходили на улицы, из поселка бежали женщины и подростки. Вскоре площадь у Совета заполнилась народом. На грубо сколоченную трибуну поднялись Бедняков, Булгаков, Алешин и какой-то военный. Толпа сразу притихла. Было даже слышно, как щебечут птицы.

...В последние дни поселок жил тревожно. Все знали, что высадившиеся в Архангельске англо-американцы начали наступление по железной дороге на юг. Правда, говорили, что вновь созданные части Красной Армии преградили путь интервентам, где-то шли жестокие бои. Передавали слух о том, что у станции Обозерская отряд в пятьсот американцев решил через болота и непроходимые леса обойти правый фланг красных. И будто бы в какой-то деревне нашелся пожилой крестьянин, который завел американцев в такие болота, что ни один не смог вернуться обратно.

— Товарищи! — объявил Бедняков. — К нам на завод приехал народный комиссар, командующий фронтом. Он хочет рассказать вам о положении на Северном фронте. Слово имеет товарищ Кедров.

На трибуну вышел человек в вылинявшей военной гимнастерке и мятой фуражке. Он снял ее, пригладил волосы рукой и начал говорить:

— Товарищи! Вам известно, что в августе в Архангельске высадились войска интервентов. Вместе с генералом Пулем туда прибыли шотландские королевские стрелки...

— Это те, что в юбочках ходят? — спросил кто-то из толпы.

— Да, они.

— Ну, так это нам не страшно!

Кедров вытянул руку вперед, призывая к тишине, и продолжал:

— Американцы послали триста тридцать девятый полк и инженерный полк. Прибыли канадские артиллерийские и пулеметные части, итальянский полк, французский колониальный полк... В самом Архангельске созданы славянско-британские и русско-французские легионы. Пожаловали к нам даже австралийские и шведские наемные части. Оказала нам честь эскадра военных кораблей, более сотни самолетов с авианосцев. В общем, империалисты не в шутку хотят ограбить наш Север, где в изобилии водится рыба, много леса, пушнины, нефти, каменного угля. Корабли интервентов с нашим добром уже уходят из Архангельска.

И вот вся эта сила, товарищи, вся эта армада грабителей не смогла сломить революционной стойкости наших необученных, раздетых и голодных красноармейцев. Войска интервентов повсеместно остановлены нашими доблестными красными воинами. Мы сорвали их план соединения с Колчаком...

Толпа загудела. Послышались крики «ура».

— Товарищи! — снова раздался сильный голос Кедрова. — Ликовать нам еще рано. Ликовать мы будем тогда, когда прогоним империалистических акул с нашей земли. А сейчас я призываю вас к следующему: на всякий случай мы создаем несколько линий обороны до города Вологды. Надо вырыть окопы и блиндажи. Губисполкомом для этого мобилизована городская буржуазия. Пусть поработает на пользу мировой революции. А оборону у разъезда Печаткино надо построить вам своими силами, не оставив работы на заводе. Я уже говорил с комсомольцами — они согласны. Второе: надо помочь нашим славным бойцам, остановившим врага. Давайте проведем сбор вещей и продовольствия и пошлем от вашего завода сотню добровольцев в ряды Красной Армии.

Участники митинга поддержали предложение Кедрова. Было принято решение отчислить в фонд

обороны однодневный заработок всех рабочих и по четверти фунта хлеба.

На следующий день рано утром комсомольцы выехали на рытье окопов. Их встретили саперы и повели к месту работы, которое было размечено заранее. Нужно было вырыть две линии окопов полного профиля, построить блиндажи, землянки и пулеметные гнезда.

Ребята работали от зари до зари. Рыть нужно было и в песчаном грунте, и в липкой глине, и на болотистых лесных полянах.

Обувь приходилось беречь, и поэтому работали босиком, хотя земля еще хранила в себе зимний холод. Ноги у всех стали красные, как у гусей, покрылись цыпками и ссадинами.

Через два дня обнаружилось, что девушки отстали от парней. Ребята посмеивались над ними:

— Что, кишка у вас тонка? А еще говорите: «мы да мы»...

Клава сердилась:

— Посмотрим, чья возьмет! Подождите радоваться.

За несколько дней до отъезда домой ребята чуть свет вышли на работу. Подойдя к участку, они так и ахнули: девчата уже трудились вовсю, а главное — успели их обогнать.

Все оказалось очень просто. После того как парни посмеялись над девушками, Клава пришла в свой блиндаж и передала разговор подругам. Они попросили помощи у саперов и — оказались впереди.

Две недели комсомольцы проработали в лесу. А когда приехали в поселок, гурьбой явились в партиячку, к Булгакову.

— Ну вот, теперь отправляйте нас, — заявил Яшка.

Булгаков непонимающе посмотрел на него:

— Куда это «отправляйте»?

— Как куда? — в свою очередь удивился Яшка. — На Северный фронт... Ведь нужны добровольцы!..

Булгаков засмеялся и замахал руками. Потом вдруг посерьезнел и сказал:

— Опоздали вы. Неделю назад сто человек уехали...

— Как же так?

— Да вот уж так... Фронт ждать не может.

— А мы?

— Вы? Вы еще дождетесь своей очереди. А вот за вашу работу политотдел Шестой армии велел вам благодарность передать. Возьми эту бумагу, Курбатов, и прочитай ее на комсомольском собрании. Она Кедровым и Кузьминым подписана.

## 16

Пустовато стало на заводе: многие ушли на фронт, иные пустились искать лучшей жизни: говорили, что в Ташкенте хлебом хоть засыпья... Изголодавшиеся люди верили всему, снимались с мест и ехали, даже не представляя себе толком, где он есть, этот самый Ташкент.

Поредела и партийная ячейка. На фронт не взяли только стариков. Подходило время, когда надо было уезжать и Трохову. Как ни недолюбливал его Чулин, а, думая об отъезде Трохова, волновался: кто же будет заниматься комсомолом?

Но мысль эта уступала место другим, более тревожным: на заводе кончались запасы древесины, из которой делали целлюлозу. Запасы кончались, а на реке сбились тысячи хлыстов молевого сплава\*, — не было людей, чтобы разобрать лес. Но не останавливать же завод, в самом деле?! Что-то надо было предпринимать...

Из губкома пришла грозная депеша: в ней отмечалось, что завод стал работать хуже, снарядов не хватает. Чулин, перечитывая последние строчки: «...будете привлечены к партийной ответственности. Данилов», грустно усмехался — как будто Данилов не знает, что здесь творится сейчас. Мог бы и приехать, сам бы увидел...

Данилов приехал неожиданно. У Чулина екнуло сердце, когда он увидел секретаря губкома, идущего через двор к заводууправлению. Тут же он разозлился на себя: что я, виноват, в самом деле, что у меня всего не хватает? Но Данилов, войдя в кабинет ди-

---

\* Моль, молевой сплав — бревна, не собранные в пучки или плоты.

ректора, казалось, и не думал распекать его. Он улыбался. Еще с порога протягивая руку, басил:

— Сто лет не виделась... Ну и отощал ты, Григорий Михайлович. Скелет какой-то, только разве что костями не гремишь...

— Гремлю уже... Это хорошо, что ты приехал.

С Даниловым он был знаком давно, еще по подпольной работе в Питере, где нынешний секретарь губкома, вернувшись из Женевы, возглавил одну из питерских районных организаций. Данилов нравился Чулину своей прямоотой, своей манерой разговора, которую, как он знал, не любили многие, — Данилов долго не раздумывал над тем, как и что сказать, а «рубил сплеча». Тех, кто не очень-то уважал правду, даниловская манера коробила. Товарищи рассказывали, что прямота и откровенность Данилова нравились Владимиру Ильичу, у которого нынешний секретарь учился в партийной школе, в Лонжюмо.

Большой, грузный Данилов заполнил собой весь кабинет. Он мерил его шагами и гудел:

— А я, брат, уже прошел по заводу, прошел... Можешь не рассказывать, сам все знаю. И что с людьми плохо — знаю, и что с питанием плохо — тоже знаю: меня рабочие чуть ли не час выпрашивали, как с хлебом.

— Да, так как же с хлебом?

— Паршиво. Совсем паршиво. На Волге люди как мухи мрут... Кулачье в черноземной полосе, и у нас тоже, попрятали все. В ямах гноят. Ну, да недолго это... А вот что лес у тебя на реке сбил — за то, брат, ругать буду...

Он не дал Чулину возразить:

— Знаю. Помолчи — все знаю! Людей нет? А ты третьедневнишнюю «Правду» читал?

— К нам она на пятый день приходит. Что там?

— Прочитай. Такому директору, как ты, очень полезно...

Данилов вытащил из кармана галифе сложенную во много раз газету, развернул ее на столе, разглаживая сгибы, и отчеркнул на первой странице ногтем нужное место.

Чулин, поправив очки, наклонился.

«Ввиду тяжелого внутреннего и внешнего положения для перевеса над классовым врагом коммунисты и сочувствующие вновь должны прищипорить себя и вырвать из своего отдыха еще час работы, т. е. увеличить свой рабочий день на час, суммировать его и в субботу сразу отработать 6 часов физическим трудом, дабы произвести немедленно реальную ценность. Считая, что коммунисты не должны шадить своего здоровья и жизни для завоеваний революции, — работу производить бесплатно. Коммунистическую субботу ввести во всем подрайоне до полной победы над Колчаком».

Это была резолюция коммунистов и сочувствующих подрайона Московско-Казанской железной дороги. Чулин читал быстро, стремясь уловить общий смысл заметки. Само понятие — коммунистическая суббота — потрясло его. Он чутьем уловил в этом что-то новое, такое, с чем ему еще не приходилось встречаться.

«...Воодушевление и дружность работы небывалые. Когда без ругани и споров рабочие, конторщики, управленцы, охватив сорокапудовый бандаж колеса для пассажирского паровоза, перекатывали его на место, как трудолюбивые муравьи, на сердце рождалось горячее чувство радости от коллективного труда и непоколебимая вера в победу рабочего класса. Мировым хищникам не задуть победителей-рабочих, внутреннему саботажу не дожидаться Колчака.

По окончании работ присутствующие были свидетелями невиданной картины: сотня коммунистов, уставших, но с радостным огоньком в глазах, приветствовала успех дела торжественными звуками «Интернационала», и казалось, что эти победные волны победного гимна перельются за стены по рабочей Москве и, как волны от брошенного камня, разойдутся по рабочей России и раскатают уставших и расхлябанных».

Час спустя они пришли в клуб и еще издали услышали громкие голоса. Данилов вопросительно поглядел на директора. Чулин улыбнулся:

— Смена кончилась, комсомол заседает...

Они вошли в комнату и сели на заднюю скамейку.

Скоро Чулин понял, в чем суть разговора: в связи с отъездом Трохова проходили выборы нового секретаря.

Данилов тронул Чулина за рукав:

— Пойдем. Пусть сами разберутся.

Но узнав через два часа, что комсомольское собрание продолжается, Данилов заторопился:

— Видно, не умеют ребята. Вон сколько времени потеряно. Идем поможем...

Сесть было негде, и они пристроились за спинами комсомольцев на табуретках, выставленных в коридор. Через открытую дверь слышались голоса выступавших. Данилов спросил шепотом у одного из комсомольцев:

— Выбрали уже?

— Выбрали, — отмахнулся тот, не оборачиваясь.

— Кого?

— Да Курбатова... — И тут же закричал срывающимся голосом: — Правильна-а-а!..

— Хороший человек? — не унимался Данилов.

Парень обернулся:

— Что ж хорошего? На безрыбье и рак рыба.

— Зачем тогда избирали? Лучше не нашлось?

— Да дай человека послушать-то...

Чулин, узнав о том, что секретарем выбрали Курбатова, тихонько присвистнул и прошептал Данилову на ухо:

— Это тот... Помнишь, я тебе рассказывал? Только молод, подготовки у него никакой...

— Как будто у тебя высшее хозяйственное образование, — хмыкнул Данилов.

...А там, в комнате, говорили уже об отправке на фронт Трохова и еще нескольких человек. Завтра они должны были явиться в город, в военный комиссариат.

Собрание подходило к концу, и Кият стоя начал зачитывать протокол:

— «С л у ш а л и: 1. Текущий момент. Прений не было. И так все ясно.

П о с т а н о в и л и: Считать текущий момент очень острым. Всем комсомольцам работать и действовать так же, как в прошлом году. Бюро ячейки составить план и утвердить на следующем собрании.

2. Выборы секретаря взамен Трохова.

Постановили: Выбран Яков Курбатов, за которого голосовало большинство. Но Трохов воздержался.

3. О всероссийской мобилизации комсомольцев на фронт. Докладчик Я. Курбатов.

В прениях высказались 17 человек, все больше о том, чтобы мобилизовывать на фронт не с 18, а с 17 лет. Только представитель партячейки М. Трохов воздержался, сказав: «Слабина вы еще».

Постановили: Довести до сведения губкома РКСМ, что семнадцатилетние комсомольцы могут воевать не хуже восемнадцатилетних и что они все прошли всеобуч и умеют владеть винтовкой, наступать цепями и ходить в атаку. Поэтому считать мобилизованными из ячейки на фронт всех ребят, кто старше семнадцати лет, кроме: Семенова, Иванова, Ксенофонтова, Дробилина и Лукина, как неспособных к военной службе, и Курбатова, как не совсем здорового, хотя он и возражает. Принято единогласно при двух воздержавшихся. Когда их спросили, почему они воздержались, они не ответили, а сказали: «Так».

4. Разное Задан вопрос о том, почему так долго не созывается первый губернский съезд РКСМ. Уж скоро будет Второй Всероссийский съезд, а у нас в губернии еще и первого не было.

Отвечает Трохов. Он говорит, что инициативная группа мало проявляет инициативы: в этом году, видимо, губернского съезда не будет.

Трохов говорит, что это и неважно, но собрание постановляет просить губком партии провести губсъезд в ближайшие месяцы».

Кият кончил читать и стало спросил:

— Ну, будут еще мнения?

— Будут, — поднялся Данилов.

Все повернулись к нему, Кият даже приподнялся на цыпочках, чтобы разглядеть, кто это там басит в задних рядах, а Трохов, увидев Данилова, вскочил на сцену, широко разводя руки и улыбаясь.

— Товарищи! — крикнул он. — Ура секретарю губкома партии товарищу Данилову. Ура-а!

Всем от этого как-то стало неловко, и никто не поддержал Трохова. Данилов, пробираясь к сцене, морщился. Сидевшие поблизости слышали, как он бурчал:

— Ну и прокукарекал, петух...

Трохов, глядя на секретаря влюбленными глазами, слез со сцены и плюхнулся на свое место. А Данилов, насмешливо покосившись на него, отвернулся.

— Сколько же вы, ребята, заседали сегодня, а? — спросил он, вытаскивая из кармана большие часы. — Ох как долго заседали! А я должен сказать, что в основном впустую. Секретаря избрали — это нужное дело. А вот с отправкой на фронт... Не пойдет.

— Почему? — вскочил Кият.

Ребята зашумели, и председатель уже протянул было руку к ступе.

— ...Но мне кажется, и ругать вас за потерянное время нельзя. Хороша была бы комсомолия, если бы вы поступили иначе. Объявлена всероссийская мобилизация молодежи на фронт, партия туда посылает тысячи коммунистов. И вдруг у партии находится такой «помощник», который говорит: «Война с Польшей дело сейчас не наше, у нас не осталось взрослых ребят, а мы еще малолетние, мы будем за мамкину юбку держаться». Если бы вы не вынесли такого решения о поездке на фронт, то я бы первый посоветовал распустить вашу ячейку. Зачем партии такой помощник? Правильно сделали! Молодцы! Но вот партийному секретарю следовало бы подсказать вам, что к чему. Григорий Михайлович, почему Булгакова нет на собрании?

— Он на заводе, — мрачно отозвался Чулин.

— Мы поговорим с ним, — сказал Данилов. — А вам, комсомол, я вот что скажу: на фронт вам сейчас никак ехать нельзя. Вы не думайте, что я не верю, что воевать хорошо будете. Даже уверен, что воевали бы вы хорошо. Оружие вы знаете, военное дело тоже.

— Так чего ж делать-то? — крикнул кто-то. — Мы уж всюду растрепали, что поедем...

Данилов сунул руку в карман и вытащил газету, ту, что показывал Чулину. Ребята смотрели на него с ожиданием. Широко улыбнувшись, секретарь губкома обвел взглядом собравшихся и весело спросил:

— А ну, кто тут самый голосистый? Читай вслух...

Нового секретаря, как и предполагал Чулин, пришлось «тянуть». Его учили уму-разуму потихоньку, незаметно от других. Подсказывали, как организовать работу, как вести себя, чтобы «не подрывать авторитета».

Субботники вошли в жизнь завода как нечто обыденное. Однажды, сдавая после работы сведения, Яшка с гордостью сказал Пушкину:

— Смотри, дядя Захар, сколько я сегодня сделал. Больше, чем в прошлый раз. Думаю, сделаю еще больше.

— Кто, говоришь, сделал? — спокойно спросил Пушкин.

Курбатов смутился и проямлил:

— Да вот двадцать две сажени перенесли и напилили...

— Значит, все же «напилили»? — с насмешкой переспросил Пушкин. — Как же это? Работали все вместе, а ты вроде бы об одном себе говоришь. Вот Чулин тоже «якать» стал. Я да я! «Мой завод», «я сделал», «у меня на лесной бирже», «мои лошади»... Нехорошо как-то получается. Ведь ему лично ничего не принадлежит. Конечно, ответственность у него больше, чем у тебя, и подчиняться мы ему во время работы должны... Но «якать» зачем?

Передавая потом этот разговор Чулину, старик повторил все, что сказал Яшке, и Григорий Михайлович рассмеялся:

— И меня заодно воспитываешь? Ох, хитрый ты, Захар. Ладно, учту. А Курбатову трудно, верно.

Яшке действительно приходилось нелегко. На его плечи вдруг легла большая и почти незнакомая ему работа. После смены он шел к Булгакову, и тот, сам уставший до предела, учил его. Именно учил, начиная с того, как проводить комсомольское собрание, и кончая проверкой конспектов по политграмоте. Яшка только до боли стискивал зубы, чтобы не крикнуть: «Я устал! Разве вы этого не видите?»

Булгаков это видел. Однажды после очередного занятия, провожая Яшку до дверей, он тихо и ласково спросил:

— Что, парень, нелегкая, выходит, дорога в большевики?

Да, дорога нелегкая...

И на заводе он работал, не считаясь со временем, забывая обо всем. Даже о том, что с фронта вернулся раненный в руку Трохов, — всего и провоевал-то два дня. И о том, что на танцах в клубе, как ему говорили, Трохов вьется возле Клавы... Яшка работал топясь, будто стараясь обогнать самого себя.

Как-то мастер Мелентьев поручил ему сложный ремонт большой вращающейся печи, в которой сжигался серный колчедан. Мелентьев дал Яшке подручного, рассказал, где взять запасные детали.

Колчеданная печь стояла в кислотном отделе. Ремонт был срочный, времени мало — всякая задержка нарушала нормальную работу завода.

Яшка подгонял подручного. Часто приходилось выбегать на улицу, подышать свежим воздухом: в цехе стоял едкий пар. А потом Яшка решил не выходить: «Ничего, выдержим. Времени — с гулькин нос». В горле жгло, глаза покраснели, воспалились, горькая слюна заполняла рот. Но ремонт они все же закончили.

Их вовремя стащили с печи и вынесли на улицу. Оба были почти в обмороке. На носилках их отправили в больницу.

Врачи уверяли, что отравление серьезное, но Яшка наотрез отказался остаться и к вечеру попросту сбежал.

На следующий день возле проходной уже висел приказ директора, в котором двум комсомольцам объявлялась благодарность. Кроме того, им была выдана премия — по пять фунтов на брата сушеного урюка, который отпускали рабочим вместо сахара.

Яшка ходил гоголем. Пять фунтов урюка — это на улице не валяется. А благодарность, которую прочли чуть ли не все в поселке, — тоже кое-что значит. Да и ремонт был такой, что поручался обычно только слесарю шестого разряда. Можно было гордиться!

А потом Яшка сорвался.

Мастер вызвал его и сказал:

— Пойдешь сушильный агрегат ремонтировать. Знаешь, в отжимном отделе? — И стал подробно объяснять Яшке, где и что надо сделать.

Курбатов нетерпеливо слушал. Наконец он не выдержал:

— Дядя Ваня, да что я, маленький? Сам знаю... Обычно доброе лицо мастера стало злым.

— Всезнайка какой! Индюк надутый! Вот ведь сколько тебе надо: раз поблагодарили, а ты уже и нос задрал! Я давно замечаю, как ты этаким фертом ходишь. Мне вот на пятый десяток, а я до сих пор считаю, что знаю всего ничего. До сих пор, у кого только можно, учусь, ко всему приглядываюсь.

Яшка стоял красный. И вдруг вспомнил, какими ироническими улыбками встречали его последнее время старые слесари.

А дядя Ваня все кипел, хотя тон его был уже более душевный:

— Запомни, павлин мокрохвостый, что я скажу. Вот ты сделал досрочно ремонт печи, и завод поэтому не встал на простой. Тебе и благодарность объявили, и пять фунтов урюка выдали за старание. А знаешь ли ты, что, прежде чем пустить печь, я осмотрел твой ремонт? У двух болтов на фланцах гайки на две нитки отходили. Если бы я недоглядел, долго печь работала бы? Тебя пожалел, никому не сказал. Видел, что стараешься. Выходит, зря...

Яшка вспомнил, что гайки завинчивал подручный, но работу его он не проверил. А был обязан проверить.

Он стоял, стараясь не смотреть на Мелентьева. Щеки у него пылали. И даже урюк, съеденный им, показался горьким. А он и Клаву им угощал! Хвастался перед Титом Титовичем, перед Чулиным! Но только одна Марфа Ильинична вслух похвалила его. Остальные лишь слушали. А старик Алешин неопределенно улыбался...

— Ну, так расскажите, дядя Ваня, что делать-то надо... — пробормотал наконец Яшка.

— Нет, теперь я тебе этого ремонта не дам. Возьми-ка керосину да тряпок и промой как следует сушильные цилиндры, ржавчину сними.

Такого Яшка не ожидал. Он чувствовал себя буквально уничтоженным.

— Мне три года назад эту работу давали...

— Вот и сделай ее как следует. Никакой работы не надо чураться. Всякая для человека не зазорна...

Так «тянули» его большевики, так учили его рабочие. Горько было ему порой. Иной раз хотелось

кому-нибудь пожаловаться. Но только темней становились Яшкины глаза. Как-то, взглянув на себя в зеркало, он удивился — губы были незнакомые, плотно сжатые, с двумя упрямыми черточками по углам. С чего бы это?

Чулин, встречая Яшку, говорил с ним всегда как со взрослым. Но в глубине души у Григория Михайловича засела тревога: «Выдержит ли? Молод очень...»

## 18

Стояли короткие дни и длинные, темные вечера, хотя днем уже ярко светило солнце. Кое-где на крышах начинало подтаивать — в воздухе чувствовался еле уловимый запах весны.

В один из таких вечеров, при свете больших электрических ламп, курбатовская «десятка» проводила субботник на лесной бирже. Ребята накатывали бревна из штабеля, подавали их под пилу, а потом укладывали на «козла». Там девушки снимали кору. Все шло хорошо. По обыкновению шутили, беззлобно переругивались и, разгибая онемевшие спины, закуривали. «Десятка» Курбатова была среди первых и красовалась на доске у Совета.

До конца работы оставалось минут пятнадцать. Вдруг что-то в штабеле загремело, и раздался пронзительный девичий крик.

Яшка кинулся к раскатившимся бревнам.

...На снегу сидела Клава, обеими руками обхватив ногу.

Ребята подняли ее, но стоять она не могла.

— Как кончите, дуйте в столовую, — дрогнувшим голосом сказал Яшка, — а я ее провожу. Возьми, Колька, мой талон — похлебку съешь, а хлеб принесишь к себе домой. Я забегу.

Клава попробовала было идти, сделала шаг, вскрикнула и снова села на снег.

— Ой, Яшенька, милый, не могу...

Курбатов стоял и думал, что зря отпустил ребят: навряд ли он один сможет донести Клаву.

— Держись-ка за мою шею, я тебя на закорках понесу...

— Что ты, Яша!

Он поднял ее.

Идти было далеко, не меньше полутора верст. И когда она слишком крепко сжимала ему шею, Яшка хрипел:

— Не дави так, задушишь...

Клава в зимнем пальто была тяжелая. Он дотащил ее до крыльца, совсем выбившись из сил. Еле дотянулся до звонка...

Открыла Марфа Ильинична. Увидев тяжело дышавшего Яшку и Клаву с неестественно вытянутой ногой, она ахнула и заплакала. Потом, немного успокоившись, засуетилась около внучки. Яшка хотел было уйти, но Марфа Ильинична и слышать не хотела об этом.

— Да куда тебе идти? Отдохнешь у нас. Вон лицо-то какое — ровно у ефиопа.

Яшка взглянул на Клаву и уловил в ее глазах что-то необычное. Ничего не понял и... остался. Сняв спецовку, он пошел на кухню, вымыл руки и лицо. Когда вернулся, увидел, что Марфа Ильинична, покрасневшись, стаскивает с больной Клавиной ноги валенок. Один уже лежал на полу, но как только старуха бралась за второй, Клава бледнела и стояла.

— Разрезать, бабушка, нужно, иначе ничего не выйдет. Нога, наверное, распухла, — морщась от жалости, посоветовал Яшка.

Марфа Ильинична махнула рукой:

— Давай режь! Шут с ним, с валенком! Сходи на кухню, там ящик стоит с сапожным инструментом, возьми ножик.

Яшка принес нож и стал разрезать голенище, не понимая, что с ним творится, — такое было впервые: руки дрожали, он не мог взглянуть на Клаву...

Когда валенок стащили и бабушка начала снимать с больной ноги чулок, Яшка вдруг отвернулся.

Нога у Клавы действительно сильно распухла, а в одном месте была багрово-синяя. Марфа Ильинична, причитая, попросила Яшку помочь перенести девушку на постель.

Осторожно взял он Клаву на руки и отнес в другую комнату. Потоптавшись у кровати, вдруг спохватился:

— Я за врачом побегу... врача надо.

Но Клава сказала:

— И так пройдет. Не уходи, Яша, посиди. Дедушка на работе, папа на субботнике... Не уходи, сегодня ведь в ячейке ничего нет...

Они остались вдвоем — бабушка хлопотала на кухне. Клава вдруг взяла Яшину руку и тихо пожала ее. Он растерялся...

В комнату вошла Марфа Ильинична, и Яшка поспешно вскочил:

— Пойду я, Клава... Без врача нельзя.

— Посиди, — снова попросила она.

Но бабушка поддержала его, и, облегченно вздохнув, Яшка побежал за врачом.

...Когда Курбатов пришел к себе в барак, сосед его, Валя Кият, уже спал. Стараясь не шуметь, Яшка разделся и лег. Тревожное и вместе с тем радостное чувство охватило его. Он долго лежал и улыбался в темноте. Только под утро забылся коротким сном.

Нога у Клавы разболелась по-настоящему, и ходить она совсем не могла. Яшка прибегал в дом Алешиных усталый, измотанный: из губкома пришла директива подготовить бригаду на сплав. Навещая Клаву, он все больше и больше убеждался, что отношения их стали какими-то особенными.

Однажды вечером она жалобно проговорила:

— Как на воздух хочется! Да на крыльцо и то не выйти, — и вздрогнула, когда Яшка, ни слова не говоря, раздетый, выбежал в сени. Только хлопнула входная дверь...

Курбатов вспомнил, что в его бараке стояли финские сани с длинными полозьями и высоким сиденьем. Он быстро вытащил их на улицу и подогнал к дому Алешиных. Потом на руках вынес повеселевшую Клаву и усадил в них.

Они ехали по тихой, безлюдной улице поселка. Снег искрился и вспыхивал в лунном свете. Высоко в небе отчетливо выделялась широкая полоса Млечного Пути. Стояли последние морозы. Порою слышалось сухое потрескивание, о котором всегда говорят, что это «морозко грозится».

Они долго ехали молча, словно боясь нарушить тишину. Первой заговорила Клава:

— Красиво, верно? Сейчас бы побежать да в снег... Как это — стихотворение про мороз? Помнишь его? Я конец забыла.

...Мороз-воевода дозором  
Обходит владенья свои.  
Глядит, хорошо ли метели...

Яшка подхватил:

Лесные тропы занесли,  
И нет ли где трещины, щели,  
И нет ли где голой земли...

Незаметно они очутились на окраине поселка. Дальше белело, теряясь в темноте, занесенное снегом болото. Холодный ветер резал щеки и бросал в лицо мелкую снежную пыль.

Яшка развернул сани так, чтобы он дул Клаве в спину.

Молча постояли несколько минут.

— Наклонись ко мне... — попросила Клава.

Яшка наклонился, и девушка, обхватив его шею руками, поцеловала в губы. Потом сразу же отвернулась.

Яшка обнял Клаву и стал быстро говорить:

— Родная моя... Теперь я знаю, что это со мной... Жизнь за тебя отдам!..

Клава отстранилась:

— Не надо, Яшенька, успокойся...

— Что дальше-то будет, Клава? — растерянно спросил он, и девушка засмеялась:

— Как что? Да ничего! Мы с тобой долго дружили и теперь тоже... будем крепко дружить. Глупый ты еще, Яшенок!

Пора уже было ехать: Марфа Ильинична ждала их. Яшка нехотя повернул сани назад.

— Глупый ты, Яшенок! — снова повторила Клава.

Яшка вдруг нахмурился:

— Я сержусь, когда ты с Мишкой Троховым танцуешь. Не люблю я его, трепача. Тоже мне вояка...

— Это в тебе ревность говорит. А мне вот кажется, он совсем неплохой парень. И что на фронте всего день пробыл — так ведь ранили его, уж так получилось... Ну, а что на продсклад его послали — так ведь кому-то и на складе надо работать...

Яшка начал раздражаться:

— На складе мог бы и старик сидеть. Ты послушай лучше, как он заливает... А зачем таким пижоном оделся? На какие шиши фасонистую форму завел?

Злость уже душила его. Но Клава не сдавалась:

— Почему ты так говоришь о человеке? Не знаешь, а говоришь?

— О Мишке все так говорят... Хочешь, спроси о нем отца...

— Никого я спрашивать не буду, сама разбираюсь. Мало ли что говорят? Одно время и про тебя тоже говорили: алкоголик, хулиган... Ну, мы, кажется, приехали?

В доме горел свет. На замерзшем окне виднелась тень Тита Титовича. Яшка поднял Клаву и понес к дверям.

Простылись они сухо, и Яшка ушел с тяжелым сердцем.

Основным сырьем завода были металл и древесина. Цехи поедали горы лома, штабеля стальных болванок, сотни и тысячи хлыстов.

Для заготовки древесины у завода были свои разработки. Лес сплавлялся сначала в реку Кубину; на Высоковской запани бревна сбивались в плоты, и два буксирных парохода тянули их через огромное Кубинское озеро в реку Сухону, на которой стоял завод.

Весна была в разгаре, и из-за паводка сплотка древесины в Высоковской запани прекратилась, угрожая заводу остановкой. Впрочем, весенние паводки никогда не были здесь неожиданностью: к ним готовились, их побаивались. Но когда Чулину сообщили, что воды столько, сколько и старожилы не припомнят, и что как-то ночью молем разбило лежни на крайней секции, он заволновался не на шутку. Данилов, уезжая, сказал ему:

— За то, что не в твоих силах, — ругать не имеем права. Но если что-нибудь по твоей вине случится, ответишь перед партией. Знаю, трудно все усмотреть, но... надо.

Чулин волновался, но положение не было безвыходным. Бригада комсомольцев готовилась к работе

на запани уже давно: «для практики» ребята учились сбивать лес на Сухоне. Просто страшно было смотреть, как стоит какой-нибудь юный лихач на крутящемся бревне и, орудуя багром, подгоняет другие бревна. Ледяные ванны — а в воду летели многие — не останавливали.

Когда Курбатов, вызванный Чулиным, вошел в его кабинет, директор уже подписывал приказ об отправке комсомольской бригады на запань. Не поднимая головы, он отрывисто спросил:

— Кого бригадиром?

— Меня.

— А если посерьезнее?

— Чего ж посерьезнее? — обиделся Курбатов. — Что я, работать не умею?

Чулин покачал головой:

— Эх, герой! Опять за свое. А здесь за тебя дядя работать будет? Нет у тебя такого подходящего дяди. Так что проводить — проводи, но дальше пристани не пушу. Бригадиром, я думаю, назначим...

— Кията, — не дал ему договорить Яшка.

Наутро комсомольский секретарь стоял на пристани и с грустью смотрел, как ребята, раскачиваясь и широко разводя руки, поднимаются по шатким мосткам. Жаль было расставаться с Клавой, с Киятом... На пристани стояла обычная предотъездная суতোлка, и никто не замечал Яшкиной грусти.

Клава, конечно, угадала его состояние.

— Яшенька, ты что? Мы же скоро... Да и ты, наверное, выберешься...

— Я не о том... — махнул он рукой. — Ты осторожней на сплотке...

Клава рассмеялась и крепко пожала Яшкину руку. Буксирчик, сипло прогудев, шлепнул плицами по воде. Ребята, стоя вдоль борта, что-то кричали. На корме, чуть в стороне от остальных, сидел на канатной бухте Валя Кият. Он смотрел не на берег, а куда-то в сторону, туда, где, сворачивая от железнодорожного моста, уходила к горизонту, к синеющей зубчатой кромке леса, дорога. «Тоже сам не свой, — подумал Яшка. — Ничего, Валентин выдержит...»

Этой ночью, накануне отъезда, Яшка разговорился с Киятом.

— Где у тебя семья? Кто у тебя есть, Валя?

Тот молчал. Молчание было каким-то томительным.

— Не знаю, — наконец отозвался он. — Отец погиб... при взрыве...

— Да, да... — перебил его Яшка. — Ведь и у меня мать...

— Ну, а где остальные — не знаю... Где-то там... в Эстонии...

Они просидели до утра на одной кровати, и — странная вещь! — Яшка рассказал Кияту о себе все, начиная с битвы в полицейском участке и кончая разговором с Клавой. Он и сам не мог понять, почему так вдруг доверился ему. А утром, провожая комсомольцев, почувствовал, что с ним, с этим парнем, ему расставаться трудно.

Пароходик удалялся, и ребята на палубе становились все меньше и меньше...

Кто-то тронул Яшку за рукав. Он обернулся. Позади него стоял ученик из варочного отдела, худенький большеглазый Лобзик.

— Идем? Нам сегодня в день дежурить.

Они шли рядом, и Лобзик без умолку говорил, что это безобразие — назначать комсомольцев дежурить по ЧОНу днем и что надо обязательно пойти к чекисту Громову или к начальнику ЧОНа Чугунову — пусть переводят на ночные дежурства. А то пустое дело получается: ходи себе и поплеывай по сторонам.

Курбатову нравился этот мальчишка. В нем, казалось, не было ничего, кроме огромных черных глаз да удивительной способности говорить без остановки все двадцать четыре часа кряду. Никто не знал, откуда он взялся здесь, на заводе, где его родители.

И вот Лобзик, забегаая вперед и отчаянно жестикулируя, доказывает, что «с этим безобразием пора кончать», и настойчиво спрашивает:

— Так ты пойдешь к Чугунову? Нет? Тогда я сам пойду...

— Да остановись ты, — взмолился Яшка. — Голова разболелась.

— А я не могу, — выкатывая и без того огромные, с какой-то сумасшедшинкой глаза, серьезно ответил Лобзик.

Яшка вспомнил, как сам ходил за Чугуновым, вымаливая у него «смит-и-вессон», и, рассмеявшись, хлопнул Лобзика по спине:

— Ладно, идем... Ну и костлявый же ты! Всю руку отбил...

— А девчонкам нравится, — хмыкнул Лобзик.

— Что? — Яшка от неожиданности даже стал заикаться: — К-как ты... г-говоришь?

— Нравится, говорю. Смотри...

Он оглянулся — нет ли рядом людей, — вытащил из штанов рубаху и задрал ее под подбородок: на вдавленном животе была вытатуирована большая синяя змея, держащая в зубах обнаженную женщину. Лобзик пошевелил мускулами — и змея тоже зашевелилась, зашевелилась и женщина, разведя руки, словно моля о пощаде.

— Видал? Я как девчатам покажу — визжат от страха. А нравится...

Яшка, потрясенный, даже забыл спросить, откуда у него это. Лобзик, засовывая рубашку в штаны, довольно улыбался:

— Во всем мире три такие штуки. Одна у малайского пирата, другая у меня, а третья... у одного человека.

— Какого человека?

— Так, — уклончиво ответил Лобзик, поняв, что сболтнул лишку. — Был знакомый... Ну, значит, к Чугунову?

— Ты ему покажи это, — полушутя-полусерьезно посоветовал Яшка. — Может, за такую диковинку он тебя в специальный чоновский музей отправит? Я слышал, есть уже такой в Москве.

Лобзик метнул на Яшку испуганный взгляд.

— Слушай, Курбатов, будь другом, не говори в ЧОНе об этом... И Громову не говори... Не скажешь?

Яшка насторожился и спросил как можно равнодушной:

— Что же у тебя за тайна такая? Девчонки, говоришь, видели, а Громову нельзя? Подумаешь, змея с теткой...

— Не говори, — взмолился Лобзик. — Я лучше тебе все скажу, если слово дашь. Ну, комсомольское?

— Хорошо, даю комсомольское...

— Я ведь по тюрьмам шлялся... И завязал — шабаш... Меня хотели в колонию направить, а я собрал шмутки и рванул сюда.

Так случайно начавшийся разговор вдруг напомнил тот, вчерашний, ночной, который Яшка вел с Киятом.

— Боюсь я все-таки Чека, — со вздохом признался Лобзик. — Ты уж никому не говори, Курбатов, а?

Яшка обнял его за острое плечо.

— А ведь ты вроде... ничего парень, Лобзик!

Чугунов был в помещении ЧОНа. Он сидел за столом, злой, небритый, невыспавшийся, и, постукивая по выскобленным доскам кулачищем, читал какую-то бумажку.

— А-а, орленки... Чего вам? Уже на дежурство? Отменяется.

— Почему?

— В ночь будете дежурить. Приказ пришел. И вот что, ребятки, садитесь-ка... Дело тут такое... В городе застукали одну группку, они на допросе рассказали, что подготовлен поджог на заводе. Поняли? Когда у вас смена?

Яшка ответил, и Чугунов кивнул:

— Ну вот и валяйте: отработаете, сосните минуток так полтораста — и сюда.

Когда они вышли, Лобзик рассмеялся.

— Чего ты?

— Да так, ничего. Весело все получается!

Уже у самых заводских ворот Яшка обернулся:

— После смены ко мне пойдем. Кият уехал, ложись на его кровать. Барахлишко только захвати — одеяло там, подушку...

Лобзик сверкнул на Яшку черными, как антрацит, глазами и улыбнулся:

— Значит, корешки?

— Какие еще там «корешки»? — буркнул Курбатов. — Говори по-русски.

— Ну, дружки, значит? Гроб, могила, три креста...

Яшка оборвал его:

— Забудь ты эти свои штучки — могилы там, кре-

сты... И о тюрьме у нас с тобой разговора не было. Точка.

Уже входя в цех, он подумал: «Чего это он со мной так разболтался? Молчал, молчал — и нате вам». Но тут же ответил сам себе: «А ты? Все ведь Княту выложил... Душа, наверное, требует...»

## 19

Как ни охранялись заводские помещения, а все-таки однажды ночью поселок был поднят по тревоге. Горели склады готовой целлюлозы. Подожгли их все одновременно, изнутри, и чоновцы увидели пожар только тогда, когда огонь начал выбиваться из широких дверей, лизать крыши... Спасти целлюлозу было уже немисливо. Единственное, что оставалось, — это гасить пламя, чтобы оно не перекинулось на другие постройки. Примчавшийся Чугунов, отчаянно матерясь, орал:

— Да что вы стоите как памятники! Оцеплять надо поселок! Поселок оцеплять, говорю! Чтобы мыш не пролезла. Головой отвечаете! Без вас здесь потушат. Ну!

Яшка бежал нехотя: черт его знает, хватит ли народа, чтобы погасить огонь? Возле последних домов он остановился, тяжело дыша, и обернулся: пламя разгоралось все ярче. Лобзик, бежавший рядом, ныл:

— Эх, зря уходим... Что ж там смотрят!

Они подбежали к болоту, за которым начинался низенький редкий перелесок. Прыгая с кочки на кочку, Яшка первый перебрался через болото и, выбрав место посуше, упал в кусты. Лобзик плюхнулся неподалеку: очевидно, он попал в воду — донеслась его яростная ругань.

Яшка лежал, вглядываясь в темноту, и ему казалось, что всюду — и за кочками и за кустами — прячутся поджигатели. Но вокруг было тихо. Где-то рядом пару раз ухнул филин и замолк.

Яшку начало знобить, и он сказал:

— Пойду посмотрю... Скоро вернусь.

Поднявшись и глянув в сторону завода, он ахнул: там вдруг рванулось вверх ослепительное пламя. От горящих складов огонь перекинулся на поселок. Теперь горела вся заречная, сплошь деревянная, часть.

Пожары возникали сразу то на одной, то на другой улице.

Огромные клубы дыма поднимались и пропадали в высоте или вдруг, подхваченные ветром, стлались по земле. Снопы искр, головни, целые горящие бревна, как фейерверки, взметывались в небо. Лопались оконные стекла, трещало и стреляло сухое дерево. Люди выбрасывали на улицу скарб, перетаскивали его на пустыри, подальше от огня. Страшные, разлохмаченные, воюющие женщины с плачущими детьми металась от одного дома к другому — начиналась паника.

...Курбатов медленно шел по самому берегу болота, вдоль безмолвных окраинных домов поселка. Внезапно ему показалось, что возле одного из них мелькнула тень, и он присел, боясь шевельнуться. Яшка не ошибся. Из калитки, крадучись, выбежал человек, и Курбатов сразу же увидел огонек, лизнувший темную бревенчатую стену. Человек нырнул в соседнюю калитку. Яшка бросился за ним:

— Стой, сука! Убью!

Поджигатель метнулся к высокому забору, отделявшему двор от ближнего дома, ухватился за колья и закинул ногу. Но Яшка уже подскочил к нему и, не соображая, что делает, ударил прикладом. Человек, вскрикнув, упал. Но тут же встал и послушно поднял вверх руки. Потом пристально взглянул на Яшку и вдруг усмехнулся:

— А, чумазый! Вон ты какой стал! Что, завоевания революции защищаешь?

Курбатов вздрогнул: «Генка с Екатерининской! Сын пристава!..»

Яшка щелкнул затвором. Наглая усмешка Генки сразу сменилась трусливым выражением.

Когда Генку привели к черному от копоти Чугуну, начальник ЧОНа коротко выругался:

— Стерва!

...Пожар погасили только утром.

Во время пожара умерла Марфа Ильинична. Старуха бросилась помогать соседям и не добежала — сердце не выдержало. Она рухнула на дорогу.

О случившемся еще ничего не знали на запани. Не знали и о том, что погибло несколько человек, — туда надо было кому-то ехать. И Курбатов заявил Чулину:

— Поеду я. Ребята здесь справятся.

Чулин, которому сейчас было не до него, махнул рукой: ладно, езжай. А Яшка, выйдя на улицу, разозлился на себя: «От трудного едешь.. дурак!» И пошел будить Лобзика, который только утром, продрогший и голодный, вылез из болота и сейчас отсыпался на кровати Кията.

Растолкать его оказалось делом нелегким. Парень брыкался, отмахивался обеими руками и бормотал, не открывая глаз:

— Да иди ты к лешему... Ей-богу, сейчас плевать-ся начну...

Наконец он сел, с трудом раздирая тяжелые веки.

Яшка коротко рассказал ему, что нужно ехать на запань. Главное, ничего не говорить сразу, подготовить тех, у кого погибли родные.

— Клаве тоже поначалу ничего не говори. Понял? Так, походи вокруг, поболтай о чем хочешь... Любила она старуху-то... А как лес разберете, часу не сидите, приезжайте на плотях.

Лобзик, уже совсем очнувшийся, зябко ежился. Обхватив руками костлявые плечи и зевая, он повторил:

— Это я-ясно...

Провожая его («Богатырь», небольшой пароходик, стоял сейчас у заводского причала), Яшка думал, послать ли Клаве записку или нет. Но решил, что лучше не посылать: правду писать трудно, а ничего другого тоже не напишешь. Тронув Лобзика за рукав, он попросил:

— Клаве привет передашь.

— Ясно, — многозначительно ответил Лобзик. — Ждет, скажу, и страдает...

Яшка вспыхнул:

— Не молоти ерунды. Что, парень с девушкой дружить не могут?

— Почему ж не могут? Могут, — усмехнулся Лобзик. — Вот моя мамка с одним цыганом дружила-дружила, а потом я родился. Да ты не смущайся, брат! Она тебе пара... Не сомневайся, все скажу как надо.

И мелкими шажками, дурашливо ступая на носки, ушел к пристани. Курбатов смотрел ему вслед, хмурясь: значит, видят ребята его отношения с Клавой... Ну и пусть!

...Лобзик приехал на запань в конце дня. Здесь, вдали от чадного завода, пахнувших гарью улиц, дышалось легче, хотя ехал он неохотно: весь поселковый комсомол был мобилизован на работы, и Лобзику казалось, что его отстранили от важного дела. Отстранил не кто-нибудь, а Курбатов! Это было самое обидное. Хотя он понимал, что кому-то надо было сюда ехать...

Проходя мимо домов, выстроившихся над запанью на высоком юру, Лобзик увидел большой плакат, написанный красным и синим карандашами:

## **ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ ЗАПАНИ!**

**Сегодня в 6 часов вечера  
кружками комсомольской ячейки завода  
имени Свердлова  
будет дан большой концерт.**

### **Программа**

- 1. Драматическое представление «О лодыре, дезертире и белом гаде адмирале Колчаке».**
- 2. Спортивные выступления и пирамиды.**
- 3. Разнообразный дивертисмент на местные темы.**

**Концерт состоится на лугу, у конторы.**

**Просьба не опаздывать.**

Лобзик прислушался: издали доносились смех, аплодисменты. Стараясь казаться как можно беззаботнее, он пошел к конторе.

...Сцена-помост на лугу была построена самими ребятами. Декораций не было. Когда Лобзик подошел и, никем не замеченный, сел позади всех, спектакль уже подходил к концу. В пьесе рассказывалось о том, как лодырь не хотел работать на Советскую власть, как дезертир не хотел воевать, но пришел белый адмирал Колчак и заставил несознательного лодыря рабо-

тать на него по двадцать часов в сутки, а дезертира — воевать против Красной Армии.

Лобзик хлопал ребятам вместе со всеми, с нетерпением ожидая, когда же кончится этот совсем некстати затеянный концерт. Но он длился долго: сразу после пьесы начались спортивные выступления.

Публика видела спортсменов впервые. Когда на сцене появились ребята в трусиках и девочки в шароварах, слышались возгласы:

— У, срамники бесстыжие, беспортошники!

— Глянь-ко! Да это девки! Чистое светопреставление! Нагишом!

— А что делают-то? Верхом на робятах ездят!

Но струнные инструменты, баян и песни понравились. Певших частушки долго не хотели отпускать со сцены, кричали: «Еще! Еще! Давай!»

Частушки пели под баян двое девчат и два парня. Каждую частушку сопровождали пляской.

Посмотрите на Ефима,  
Весь оброс, одна щетина.  
Как работать, так в кусты:  
«Без меня собьют плоты».

И все обернулись к Ефиму из Катромы, смеясь и указывая пальцами. Тот тихо чертыхался. А ребята пели уже о другом сплавщике, о дяде Павле:

Дядя Павел, дядя Павел  
Всех нас нынче позабавил.  
Влез он в воду по колено,  
Сплавил ровно три полена!

— Смотри-кося! — надрывался кто-то от смеха. — И Павлу попало! Ох и ребята приехали!

Общим одобрением были встречены частушки о начальнике и десятниках запани. Хотя фамилии и не назывались, но все поняли, о ком шла речь:

И всего-то по осьмушке  
Надо с каждого украсть,  
Но зато такому типу  
Можно жить и кушать всласть.  
Как с рабочим — матерится  
Наш начальник лихой,  
А с начальством в обращенье,  
Как ягненок, тихой!

И опять люди хлопали, довольные: до сих пор начальника все боялись!

— И откуда они только все знают? Молодые, а дошлые.

— А чего им бояться-то, — обиженно сказал, ни к кому не обращаясь, стоявший рядом с Лобзиком бородач. — Небось сегодня уезжают. Я б им показал кузькину мать, если б еще денек здесь проторчали...

Лобзик насмешливо фыркнул. Бородач повернулся к нему:

— Чего смеешься-то, рожа египетская? Комсомол сопливый... — и толкнул парнишку в грудь. Тот мягко покатился на траву.

Кругом зашумели, а мужик крикнул: «Будет зубы скалить!» — и ушел, покачивая широкими бедрами.

Ребята только теперь увидели Лобзика.

— Как ты сюда попал?

— Работать приехал.

Клава расхохоталась:

— Работать? А мы уже все сделали. За три дня весь моль разобрали. Ну и помощничек нагрянул!..

Лобзик отыскал глазами Валю Кията и, подойдя к нему, кивнул: «Айда, поговорить надо». Кият, услышав о пожаре, побледнел.

— Никому сейчас — ни слова. Потом...

Вечером Лобзик сообщил комсомольцам о случившемся. Ребята слушали его мрачные, насупившиеся. Когда Лобзик, волнуясь, рассказал, как Курбатову удалось схватить поджигателя, он невольно поглядел на Клаву. Та заметила этот взгляд и отвернулась.

— Там... все живы? — спросил кто-то.

Вопрос не был случайным: многим был памятен взрыв в феврале семнадцатого года. И по тому, что ответ последовал не сразу, ребята поняли: не все.

Лобзик, чувствуя, что молчать он уже просто не может, тихо проговорил:

— Трое... погибли... — и медленно повернулся к Клаве. — Твоя бабушка... Мне Яшка не велел... Но лучше сразу. Она хотела помочь другим и...

Клава охнула. Одна из девушек обняла ее. Так, уткнувшись в плечо подруги, она и сошла на плот. Там, опустившись на сырые бревна, заплакала. Девушки пытались успокаивать ее, но Кият шепнул им:

— Не надо. Пусть поплачет...

На каждом плоту были построены из веток шалаши. Дни стояли погожие, паводок спал. Но когда буксир вышел на середину озера, подул свежий ветер. Скоро на гребнях волн показались белые барашки, и плоты закрипели, застонали. Могучие бревна то вздымались на волнах, то проваливались. С трудом удавалось ходить, казалось, что они вот-вот расползутся. Капитан буксира кричал в рупор, чтобы ребята вели себя осторожно.

Все сидели в голове плота молча. Возвращение домой было нерадостным. Еще утром никто не мог предположить, что оно окажется таким. Клава лежала в сторонке и словно не слышала, как ее несколько раз окликали: «Иди к нам!» Наконец она поднялась и пошла босиком по краю плота. Вскрика ее никто не услышал, но многие увидели взметнувшиеся руки и искаженное ужасом лицо.

Ребята оцепенели: плавать Клава не умела. На мгновение появилась ее голова, и девушка скрылась в бурлящем потоке.

Лобзик не заметил, когда Клава упала. Но, увидев ее в воде, он коротким, сильным прыжком перенес свое худое тело на крайние бревна и как-то боком ринулся в реку. Он успел сообразить, что Клаву снесет течением, и прыгнул впереди того места, где показалась ее голова. Нырнул он всегда с открытыми глазами и все видел под водой. Немного позади себя, в мутно-желтой пелене, он различил плывущее по течению тело. На быстрине оно не могло сразу опуститься на дно. Лобзик, извернувшись, схватил Клаву одной рукой, а другой отчаянно стал выгребать наверх. Приподняв над водой голову девушки, он увидел перед собой плот и вцепился в брошенный канат. Десятки рук уже тянулись к парню.

...Лобзик осторожно положил Клаву и стал делать ей искусственное дыхание. Минут через пять Клава слабо застонала и ресницы ее дрогнули. Тогда Лобзик кивнул девчатам: «Продолжайте» — и отошел, вытаскивая из кармана промокший кисет...

Когда Клаву, снова потерявшую сознание, вынесли на берег, Яшка бросился к ней.

— Жива, жива! — схватил его за руку Кият. — Да очнись ты, а то и тебя откачивать придется. Вот его благодари, он спас...

Лобзик стоял в стороне, скаля свои изумительно ровные белые зубы. Яшка подошел к нему, бормоча:

— Я... тебе, Володька... никогда...

— Ну вот еще! — смутился Лобзик.

— Всю жизнь... не забуду этого...

— Не за что благодарить... — промямлил Лобзик и вдруг, повернувшись к ребятам, крикнул: — А ведь и напьюсь я на курбатовской свадьбе! Ей-богу, напьюсь!

## 20

Чугунов получил приказ — поднимать чоновцев и идти за хлебом в Сухой Дол. Заодно прочесать деревни: на допросе поджигатель признался, что остальные прячутся там.

Прежде чем уехать, Яшка забежал к Алешиным. Клава сразу заметила «смит-и-вессон» в кобуре и удивленно спросила:

— Куда ты?

— Надо, Клава.

— Всегда «надо»... — Она всхлипнула, уткнув голову в плечо отца, и тот, обернувшись, кивнул Яшке: «Иди уж!»

Командиром продотряда, направлявшегося в дальний Тотемский уезд, был назначен сам Чугунов, а комиссаром — коммунист Рыбин, недавно присланный из города, весь израненный и демобилизованный по непригодности к дальнейшей армейской службе.

В отряде было сорок человек — бойцы-чоновцы и беспартийные рабочие. Курбатова зачислили конным ординарцем. Между Чулиным и Чугуновым по этому поводу была короткая перепалка, о которой никто не знал: Чулин не хотел отпускать комсомольского секретаря, а Чугунов, ударив кулаком по столу, гаркнул на директора:

— Грош ему тогда цена, секретарю! Если бы ты на главные дела не ходил, я б тебя уважать перестал... А кого прикажешь взять? Трохова, что ли?

Тотемский уезд, куда шел продотряд, был глухой, но богатый хлебом. Железнодорожного пути туда не было. Летом по Сухоне и Северной Двине можно было проехать до уездного города Тотьмы на пароходе.

Но Чугунов решил пройти триста верст на лошадах и обшарить по дороге суходольские деревни: может, и не соврал поджигатель...

Но триста верст!..

Чугунов, приподнимаясь в стременах, пропускал мимо себя бойцов, пустые телеги и хмурился: с таким обозом намучаешься. Крестьяне насторожены: кулачье запугало бедноту, про художества мироедов узнаешь только случайно. «Понятна задача?» — мысленно передразнивал Чугунов своего начальника Громова. А чего понимать-то? Надо не только отобрать излишки, но и вырвать бедняка из-под кулацкого влияния. А как его вырвешь, если бедняк с кулаком изба в избу живет, а ты приедешь и уедешь...

По разбитым, заросшим густой травой дорогам с полуразвалившимися мостиками и настилами, по хворостинным гатям отряд шел три дня, а отмахали всего ничего. Но в лесу все-таки дышалось хорошо, а главное, было время подумать обо всем... И Яшка вдруг вспомнил, что забыл составить график занятий по политграмоте, что не предупредил Кията, чтобы тот обязательно отослал протоколы последних собраний в губкомол, что на заводе двое пареньков-комсомольцев подрались, пустив в ход ножи, — надо их обсудить... А без него наверняка не обсудят...

Чугунов заметил, что Яшка нервничает.

— Ты чего? Седло неудобное?

Курбатов рассказал о том, что его волновало, и Чугунов вдруг разозлился:

— Все сам хочешь делать? Ты один такой умный в комсомоле? И без тебя обойдутся, не бойся. Ты, брат, чего-то на Чулина стал смахивать. Тот тоже все сам да сам.

Чугунов хлестнул коня и вырвался вперед. Курбатов хмуро смотрел на его широкую спину: «Опять учат...»

Но тут расступились деревья, и все увидели серые бока изб, крытые соломой крыши. Это была третья деревенька на трехдневном пути отряда. Уже смеркалось, и Чугунов, сверяясь по карте, чертыхался: то весь день едешь — ни одной живой души нет, а тут сразу пять деревень одна на другую налезает. Он кивнул Рыбину:

— Поезжай с Курбатовым в соседнюю деревню, пошуйте, что там делается. Если поздно задержитесь — ночуйте, мы утром подойдем.

Рыбин попросил еще одного бойца, и Чугунов усмехнулся:

— Вдвоем страшновато? Ничего, места здесь тихие, до Сухого Дола еще портки протрешь.

Но бойца все-таки дал.

Карта у Чугунова была составлена неправильно, и до соседней деревни добрались только за полночь. Где-то на болотах, охватывавших полукольцом хутор, пронзительно вскрикнула ночная птица, и Яшка почувствовал, как по спине побежали мурашки.

— Выпь орет,— спокойно заметил Рыбин.— Цапля такая...

Идти по деревне сейчас было бессмысленно — люди спали. И Рыбин, спешившись, постучал хлыстом в первую же избу.

Коней поставили в хлеву. Курбатов, еле державшийся на ногах, не стал дожидаться, пока дед — хозяин избы — задует самовар, и, раздевшись, полез на русскую печь, занимавшую половину избы. Весенние ночи в этих местах прохладны, и Яшка изрядно продрог в одной гимнастерке.

Сквозь сон он слышал неясные голоса и крики, потом вдруг увидел рожу, заглянувшую на печь и сказавшую: «Хозяйский мальчишка». Он долго не мог поднять тяжелые, набухшие веки. Глухой стук от чего-то упавшего на пол заставил его проснуться. Яшка подполз к печной трубе и выглянул из-за нее.

В тускло горящем свете керосиновой лампы он увидел лежавшего на полу связанного бойца с тряпкой во рту. Комиссар стоял неподалеку, тоже связанный и голый до пояса. Все лицо его было в крови. Какие-то люди сидели на лавке, у стола, и о чем-то оживленно говорили. Одного из них он как будто знал... Да, это был тот «полковник», который тогда, два года назад, приходил к управляющему заводом...

Оцепенение прошло сразу. Яшка не взял с собой оружия, когда ложился спать, и сейчас лихорадочно соображал, что же делать.

Лаз на русскую печь был рядом с дверьми, выходящими в сени. Яшка тихо выбрался из-под тулупа

и в одних трусах сполз вниз, под полати, в густую и мрачную темень.

Потом он попробовал бесшумно открыть дверь, но она не поддавалась. Пришлось налечь на нее плечом. Скрипнув, дверь распахнулась. Выбежав в сени, Яшка нырнул в узкий проход, ведущий в хлев. В темноте он провалился в остро пахнущую навозную жижу и, хлюпая по ней, побежал туда, где стояли кони.

Рыжий встретил его тихим ржанием. Яшка быстро отвязал поводок уздечки, вскочил на теплую спину коня и шепнул:

— Рыжий, грабят!

Конь вздрогнул, прижал уши, и Яшка едва успел вцепиться ему в холку.

Сзади что-то орало, потом один за другим раздались несколько выстрелов. Но пули прошли стороной. «Скорей... скорей... скорей...» — торопил Яшка Рыжего. А тот и так уже храпел, и пена падала у него с губ ключьями.

Подлетев наконец к избе, где остановился командир отряда, Курбатов на скаку спрыгнул с коня, больно стукнувшись о землю босыми пятками, и рывком отворил двери:

— Скорей... Комиссар погибает... бандиты!

Чугунов, схватив карабин, первым выскочил во двор. За ним выбежали остальные.

Кони стояли оседланные. Чугунов крикнул Курбатову:

— Оставайся здесь!

Но Яшка, скользя голой ногой по мокрому, остро пахнущему потом боку Рыжего, все-таки залез на него и тронул уздечку. Конь нехотя затрусил по дороге — в галоп его уже нельзя было поднять.

Когда Курбатов добрался до деревни, стрельба уж стихла. Как потом рассказали Яшке, бандиты, скрывшись за овином, ушли по тропке к лесу. А в том месте Чугунов не поставил отрядников: никто не знал, что там есть тропа. Да по болоту, рассчитывал командир, далеко не убежишь.

...Рыбин лежал на полу без сознания. Лицо стало неузнаваемым — это была сплошная рана. На груди кровоточила вырезанная пожом звезда. Однако комиссар еще жил: сердце его, хоть и слабо, но билось.

Боец был мертв. Ему распороли живот и насыпали в него ржи. Сверху положили записку: «Он выполнил подразверстку».

В Печаткино отряд вернулся с хлебом, и в тот же день Чугунов отчитывался на бюро партячейки. Пригласили туда и Курбатова — он не успел даже вымыться и сходить к Клаве.

Когда Чугунов коротко рассказал о стычке с бандитами, Яшка попросил слова:

— Одного из них я знаю. Это «полковник»... Ну, тот, что с Ермашевым встречался...

Громов, что-то черкнув карандашом на листке бумаги, кивнул:

— Да, полковник Базылев. Эту птицу мы с восемнадцатого года ищем. Ловкий, подлец. Ничего, не уйдет...

Бюро постановило: деятельность отряда одобрить, всем бойцам вынести благодарность. Алешин, встав, хлопнул Яшку по спине:

— Ну, теперь небось к ребятам побежишь, секретарь? А тебя тут уже переизбрали.

— Как переизбрали? — не понял Яшка.

— Долго отсутствовал. Надо же кому-то работать! Да не расстраивайся, Курбатов, мы тут... Булгаков, растолкуй-ка ему.

Яшка слушал и не верил своим ушам. По рекомендации бюро партячейки Курбатова заочно выбрали делегатом на губернский съезд комсомола. Данилов говорил, что будет рекомендовать его делегатом на Всероссийский съезд. Кроме того, по предложению Булгакова Яшку направляют в Архангельск, на курсы политруков. Значит, сначала на съезд, а потом, не заезжая домой, в Архангельск... Булгаков пошутил:

— Дай-то бог, чтоб и меня с секретарей так же сняли.

Яшка вышел на улицу, ничего не соображая. Масса дел, которые были намечены, — все это уже будут делать другие, хотя до отъезда еще несколько недель. «А кто ж теперь вместо меня? Так растерялся, что и не спросил...» Он крикнул вслед уходившему в сторону завода Булгакову:

— Кому дела-то сдавать?

Булгаков обернулся:

— Дружку своему, Кияту.

Где-то в глубине Яшкиной души зашевелилась тревога: «Уеду... А Клава?»

Уже третий вечер они прощались и никак не могли проститься. Прижавшись друг к другу, бродили по тихим, темным улицам поселка, останавливались, целовались и снова шли.

Клава старалась его успокоить:

— Глупый ты мой! Подумаешь, полгода... Время летит — не заметишь.

Он несколько раз порывался сказать Клаве, чтобы она не встречалась с Троховым, но молчал: глупо омрачать последние часы. В день отъезда Клава пригласила Яшку к себе:

— Зайди! С папой и с дедушкой простишься. Они тебя очень любят.

Яшка прошел в комнату, а Клава осталась на кухне ставить самовар. Павел Титович сидел за столом и что-то писал. Старик читал газету и, когда увидел Яшку, сдвинул на кончик носа очки:

— Проститься зашел, адвокат? Это хорошо, что не забыл. Многие теперь старших ни в грош не ценят. Садись вот сюда, рассказывай.

— Да что рассказывать? Вот еду...

— Съезди, съезди. Срок невелик, а свет и людей посмотришь.

Яшка что-то пробормотал, и старик переспросил:

— Что, что?

— Не знаю, говорю, как получится... Что выйдет — не знаю. Уезжать как-то неохота...

Он посмотрел на вошедшую Клаву.

— Не дури! — сердито пробурчал Тит Титович и передразнил его: — «Неохота...» Поди, с Клавкой расставаться неохота? Насквозь я вас вижу. Отговаривала небось тебя?

— Что вы, дедушка! — Клава вспыхнула.

Она села за стол рядом с Яшкой. Дед прикрикнул на сына:

— Хватит писать-то, писатель! Видишь, гость у нас. В последний вечер пришел проститься.

Павел Титович послушно отодвинул от себя чернильницу и бумагу. Старик подмигнул ему и, кивнув на Яшку, спросил:

— А что, Павел, неплохая пара?

— Перестаньте, дедушка!

— Не перестану, внучка! Давай сосватаем их, Павел? Сегодня вот вроде помолвки сделаем, а вернется он, тогда и в Совете запишутся...

Павел Титович пожал плечами.

— Я не против. С двенадцати лет вместе. А что любят друг друга, так это сразу видно. — Он улыбнулся. — Давай, Клава, собери по этому случаю чаек.

— Раз такое дело, — засуетился старик, — что в печи — на стол мечи. Принеси-ка, внучка... там рябиновая и смородиновая есть. Еще покойная Марфа, царство ей небесное, готовила! Вот и выпьем по поводу...

Клава покосилась на замершего от неожиданности Яшку, хотела что-то сказать, но передумала и стала собирать на стол. Принесла настойку, закуску — соленых рыжиков, огурцов, сала. Подала лепешки. Павел Титович притащил кипящий самовар. Поднимая стопку, старик таинственно сказал:

— Давайте выпьем по первой, а я потом скажу — за что.

— Нет, нет! — запротестовала Клава, чувствуя какой-то подвох. — Так не бывает. Сперва всегда говорят за что, а потом уж пьют!

— Ты сейчас помолчи, внучка. Я твой дед, а деду и вперед поверить можно, он за плохое пить не будет!

Пришлось выпить без всякого тоста. Старик вытер свои седые, пожелтевшие от табака усы и прищурился:

— Знаете, за что мы выпили? А за правнуков моих. Правнуков я хочу иметь! Вот таких, — он показал рукой их рост от пола. — Слышишь, Клава? Чтобы они вечером меня за нос теребили.

Клава и Яшка сидели опустив глаза.

— И нечего смущаться, — спокойно говорил старик. — Взрослые вы, сами все знаете. Давайте по второй. Вот этой, смородиновой.

Тит Титович выпил, крикнул: «Ух, хороша!» — и налил себе в третий раз. Любил он под хмельком поговорить.

— Слава богу, сынами бог меня не обидел, целых трое было. Да вот двое неженатиками где-то бродят, только от Павла и есть внучка. Да опять же одна! Правнуков мне надо, хоть последние годы порадуюсь...

Он потянулся к бутылке.

— Да что, разве мне одному нужны они? Вот опять же с государственной точки. Чтобы нарождалось больше, чем стариков мрет. России нашей особенно люди нужны, в этом ее и сила. Поняли? Давай еще по стопочке. Э, постой, постой, молодец, вперед старших нельзя! Ну-ка, валяйте поцелуйтесь при нас, а потом хоть потоп...

— Да что вы, дедушка! — испуганно крикнула Клава.

— «Что, что», — передразнил старик. — Да ничего! Что, впервой тебе с ним целоваться, что ли? А при нас стыдно?

Пришлось поцеловаться. Павел Титович слушал отца и смеялся: раз уж старик вошел в раж, его перебить трудно.

— Ну, совет вам да любовь! — не вполне твердым голосом сказал Тит Титович и выпил остатки.

Первым из-за стола поднялся Павел Титович. Незаметно подмигнув отцу, он подошел к Яшке:

— Ну, до свидания, сынок! Ничего я тебе не говорю, сам все знаешь. Одно скажу: пускай все хорошо у тебя будет, а ты всегда собой немножко да недоволен будь. Не зазнавайся, не хвастай успехами, пускай за тебя ими другие похвастанут.

Он трижды поцеловал Яшку и вышел. Старик, пошатываясь, отправился вслед за ним.

...Потом Клава с Яшкой еще долго стояли на крыльце. Здесь они в последний раз и обнялись.

## 21

Накрапывал дождь — мелкий, холодный, осенний. Делегаты жались к стенке вокзала. Их никто не встретил, и они гадали — куда ехать. Кто-то побежал к начальнику станции позвонить по телефону в ЦК комсомола. Тот долго не разрешал, но, когда парень грохнул кулаком по столу, отступил, пробурчав:

— Не делегаты, а шпана какая-то...

В ЦК объяснили: ехать надо на Садово-Каретную. Но где эта Садово-Каретная, не знал никто: все были в Москве впервые. Курбатов кивнул на выстроившиеся возле вокзала пролетки:

— Довезут, наверно. Ну, заплатим лишние «лимоны».

— Правильно, зачем знать географию, когда есть извозчик?

Но кучер, сверху вниз поглядев на ребят, спросил:

— У вас что — «лимоны»? Моя баба этими мильсенами комнату обклеивает вместо обоев. Дадите фунт соли — довезу.

Ребята кое-как наскребли фунт.

Набились в пролетку так, что поминутно кричали друг дружке:

— Да не вертись! Рассыплемся...

Пролетка, подпрыгивая на булыжной мостовой, и в самом деле стонала и скрипела.

Делегаты приехали поздно: в коридорах и комнатах третьего Дома Советов стоял несмолкаемый гомон, откуда-то сверху доносились звуки гармошки. Курбатов заглянул в одну из комнат: там, навалившись грудью на стол, какой-то парень печатал на разболтанном «ундервуде», тыча в клавиши одним пальцем.

— Регистрация здесь?

— Здесь, здесь...

Находящиеся в комнате, не спросив Курбатова, кто он и откуда, сунули ему в руки большой лист с крупным заголовком: «Подзатыльник».

— Читай! — приказал печатавший на машинке. — Это наша газета.

— Сашка! — крикнул кто-то в коридоре. — Куда ты пропал? Иди получай шамовку.

Делегаты знакомились запросто.

Большинство было в военном. Но немало оказалось и таких, как Яшка.

Расположиться на ночлег удалось с трудом — чудом досталась ему койка в общежитии ярославской делегации. Он приходил сюда только переночевать, — все свободное время гонял с ребятами по Москве, даже попал в облаву на Сухаревке и долго объяснял в милиции, что он никакой не карманник и не фармазон. Его отпустили, предупредив, чтоб больше он

на Сухаревке не появлялся: «Там у стоящего подметки оторвут — не услышишь».

Когда он после милиции вернулся в общежитие, там все гудело. Курбатов не сразу понял, о чем спорят ребята. Здоровенный парень с перевязанной рукой басил:

— Да ясно, о чем он будет говорить.

— Он что, советовался с тобой? — ехидно спросил один из ярославских.

Парень, не смущаясь, назидательно выставил вперед палец здоровой руки:

— Неграмотный ты! Ну подумай сам — о чем он может говорить? Ясно же: Врангель не разбит — это раз. Мировая революция пока не состоялась — два. Чего еще-то?

— Это верно... И о дискуссии в комсомоле...

— Ну да, будет он этим делом заниматься...

— А что? Мы, брат, мировые проблемы сейчас решаем. Мы...

Курбатов наклонился к соседу:

— Чего распетушились-то?

Тот поглядел на него отсутствующим взглядом. Курбатову пришлось повторить: «Чего спорите?», и сосед, поняв наконец, ответил:

— Ленин будет у нас выступать.

У Курбатова сладко замерло сердце. Где-то в глубине души он и раньше надеялся на то, что увидит Ленина, но уверенности в этом не было. Сейчас, прислушиваясь к разговорам, пытался представить себе, какой будет эта встреча. Но думал об этом не он один. Курбатов даже вздрогнул, когда сосед спросил, ни к кому не обращаясь:

— А какой он — Ленин?

Все сразу замолчали. Откуда им, ярославским паренкам, было знать Ленина? Поэтому кто-то неуверенно ответил:

— Большой, надо полагать. Здоровый, вроде Квасухина...

Квасухин, парень с рукой на перевязи, прогудел:

— И голос у него, наверно, такой... — Он потряс перед собой крепким, тяжелым кулаком.

— Верно, — отозвались с дальних коек. — На то он и Ленин...

В эту ночь Курбатов долго не мог заснуть. То, что он, семнадцатилетний слесарь, послан в Москву и через несколько часов — если верить ребятам — увидит Ленина, наполняло его гордостью. Все уже спали. Навалившись на раненую руку, вскрикнул во сне Квасухин и долго еще стонал, заставляя Курбатова тревожно подниматься на своей скрипучей, расшатанной койке. «Слева заходите... Слева... Пулемет...» Парень воевал и во сне.

Что творилось в этом зале на Малой Дмитровке! Мест уже не было, а люди все шли и шли...

Курбатов едва пробился к сцене и сел на нее, касаясь головой рояля и свесив ноги. «Считай, мы с тобой почти в президиуме», — пошутил парень в гимнастерке и густо-малиновых галифе, устроившийся рядом.

Яшка оглядел зал. Сырые стены, окна в потоках дождя, плакат, с которого сердитый рабочий показывал на него: «Что ты сделал для фронта?» Курбатову почему-то стало неловко, и он отвернулся.

Действительно, много ли сделано? Вон сколько ребят — в шинелях, кожанках, солдатских папахах, ободранные, забинтованные... А он в новенькой гимнастерке из «чертовой кожи»! Да, разный здесь собрался народ. Прямо перед ним сидел парень в перешитой бабьей кофте и в сапогах, перехваченных кусками проволоки, чтобы не отвалились подметки. Зато в первых рядах справа — красавцы матросы в лихо заломленных бескозырках, с маузерами в деревянных кобурах. Один из них, рассказывали, недавно был у Ленина — приехал делегатом от балтийской братвы просить прибавить морякам хлеба. Ленин его выслушал и сказал: «Знаете, в Питере несколько тысяч детей голодают. Что, если бы моряки помогли им?» Балтийцы отдали детям четверть своих пайков.

За эти дни Курбатов наслушался всякого. Но знал одно: обладатели всех этих шинелей, курток, малиновых галифе, выкроенных из обивки господских диванов, этих подвязанных проволокой сапог, разломанных картузов и смятых, блином, бескозырок — люди, которые сделали в тысячу раз больше его. Тот же па-

рень в бабьей кофтел.. Давно ли его вызволили с Мудьюга\*? И вовремя — иначе бы не быть ему здесь. А тот разговор, случайно подслушанный в фойе о шестнадцатилетнем командире полка, которого именовали Аркашкой?..\*\*

Да, мало было сделано Курбатовым. Он чувствовал, как в нем зашевелилась обыкновенная зависть, и усмехнулся, представив себе, что ответил бы ему вечно спокойный Кият, если бы он поделился с ним своими мыслями: «Не плачь. У нас впереди мировая революция».

Кругом все доставали листки бумаги, карандаши, готовились записывать. Курбатов досадливо поморщился: ведь забыл-таки взять шитую еще в Печаткине тетрадку.

Секретарь Цекамола — его вчера показали Яшке, — невысокий, широкоплечий, в поношенной синей сатиновой рубашке с расстегнутым воротом, нервничая, то и дело посылал ребят в комнату, соседнюю с залом.

И вдруг Курбатов заметил легкое движение в первых рядах, к которым он сидел лицом. Затем люди начали вставать, и словно волна прокатилась от первых рядов до последних. Курбатов только услышал короткое, как бросок, слово: «Он!» — и, обернувшись, замер.

...Возле дверей, ведущих на сцену, стоял невысокого роста человек в черном пальто. Кепку он держал в руке, и Курбатов прежде всего увидел огромный, светлый, крутой лоб. Уже потом разглядел золотистые, лукаво улыбающиеся глаза, прикрытые тяжелыми веками, усы и короткую бородку. Он был не таким, каким Яшка представлял его себе, и вместе с тем Курбатов почувствовал, что будто давным-давно где-то уже видел Ленина, вот такого, как сейчас.

Потом Яшка вместе со всеми до боли в ладонях хлопал, что-то кричал, а Ленин, на ходу снимая пальто, как-то укоризненно поглядывал на президиум.

Владимир Ильич, положив пальто на спинку стула, поднял руку, но овация все росла.

---

\* Остров в Белом море, близ Архангельска, где англо-американские оккупанты организовали концлагерь.

\*\* Речь шла об А. П. Голикове (Аркадии Гайдаре).

Секретарь Цекамола, подняв над головой колокольчик, яростно потряс им. Но колокольчика почти не было слышно. Тогда Ленин вынул часы и показал их: время, мол, дорого.

Какое там!

Яшка слышал, как председательствующий, перегнувшись через стол, старался перекричать зал:

— Владимир Ильич! Как объявить ваше выступление? Выступление, говорю, как объявить? Доклад о текущем моменте?

Ленин отрицательно качнул головой.

Наконец зал затих. Тишина наступила такая, что стало слышно, как хлещет по стеклам дождь. Ленин подошел к краю сцены и просто, по-деловому сказал:

— Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунистической молодежи, и в связи с этим — каковы должны быть организации молодежи в социалистической республике вообще.

Курбатов видел, как питерские делегаты оживленно переглянулись. Он подумал, что кому-кому, а этим боевым ребятам задачи комсомола дай бог как известны: где им только не приходилось воевать да и сколько еще придется. «Очевидно, Ленин о Врангеле будет говорить», — мелькнула мысль. Но Ленин говорил не о Врангеле.

— И вот, подходя с этой точки зрения к вопросу о задачах молодежи, я должен сказать, что эти задачи молодежи вообще и союзов коммунистической молодежи и всяких других организаций в частности можно было бы выразить одним словом: задача состоит в том, чтобы учиться.

Он особенно подчеркнул последнее слово: «учиться», и тут же сосед Курбатова толкнул Яшку в бок.

Ленин не мог не слышать, как по залу прошел легкий шумок.

Владимир Ильич говорил о том, что с преобразованием старого капиталистического общества учение, воспитание и образование новых поколений, которые будут создавать коммунистическое общество, не могут быть старыми. Ленин подался вперед:

— Мы можем строить коммунизм только из той суммы знаний, организаций и учреждений, при том

запасе человеческих сил и средств, которые остались нам от старого общества. Только преобразуя коренным образом дело учения, организацию и воспитание молодежи, мы сможем достигнуть того, чтобы результатом усилий молодого поколения было бы создание общества, не похожего на старое, то есть коммунистического общества.

Ленин говорил о том, чему и как должна учиться молодежь, чтобы оправдать звание коммунистической молодежи. Зал слушал замерев.

— Естественно, что на первый взгляд приходят в голову мысли о том, что учиться коммунизму — это значит усвоить ту сумму знаний, которая изложена в коммунистических учебниках, брошюрах и трудах. Но такое определение изучения коммунизма было бы слишком грубо и недостаточно...

Ясные, четко выраженные мысли Владимира Ильича доходили до сознания каждого делегата.

— Без работы, без борьбы, — продолжал Ленин, — книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой.

При словах «без работы, без борьбы» Яшка вздохнул. Это ему было особенно понятно. А Владимир Ильич уже говорил о старой школе. О том, что было в ней чуждого, почему она была лживой. И тут же, предостерегающе подняв руку, заметил:

— Но вы сделали бы огромную ошибку, если бы попробовали сделать тот вывод, что можно стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческим знанием.

Курбатов старался запомнить все. И то, почему учение Маркса стало учением миллионов и десятков миллионов пролетариев во всем мире, и как надо строить пролетарскую культуру, и что надо взять из старой школы. Когда же Владимир Ильич как-то по-особому внятно и четко произнес: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», — Курбатов быстро извлек из кармана клочок бумаги и записал эту фразу.

Все яснее и яснее становились мысли Ленина для Курбатова, все глубже и глубже начинал понимать

он задачи, вставшие теперь перед страной, перед Союзом молодежи, а значит, и перед ним. Новая сознательная дисциплина рабочих и крестьян... хозяйственные задачи... электрификация страны... коммунистическая мораль. На нескольких примерах Ленин объяснил, как практически должно идти воспитание коммунизма в организациях молодежи. А заканчивая свое выступление, Владимир Ильич особенно выделил:

— ...должно все задачи своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую...

Ленин закончил и, пройдя к столу президиума, начал разбирать многочисленные записки. Кто-то, вскочив, придвинул ему стул.

И только тут снова грохнули аплодисменты. Кажалось, лавину эту не выдержат стены...

Людская волна прижала Курбатова к столу. Ленин, быстро прочитывая записки, то улыбался, то хмурил брови. Наконец все было рассортировано. В это время Яшку кто-то сильно толкнул. Оглянувшись, он увидел парня в бабьей кофте, который протискивался к Ленину.

— Куда ты?

Тот скользнул по Курбатову невидящим взглядом и остановился перед Владимиром Ильичем.

Ильич поднял глаза. Какие-то секунды он рассматривал эту нелепую фигуру, и Яшка заметил на лице Ленина что-то похожее на боль.

— У вас тоже вопрос, товарищ?

— Да... Вот вы скажите... — Голос у парня срывался. — Значит, и я... коммунизм увижу?

Ленин встал:

— Да, да. И вы! Именно, дорогой товарищ!

— Спасибо, товарищ Ленин.

И парень, шаркая подвязанными подошвами, стал пятиться назад, держа руки у груди, будто неся врученную ему награду.

Ленин обратился к залу.

— Записок, товарищи, очень много, — сказал Владимир Ильич, — но я постараюсь ответить на них. Меня спрашивают о военном и хозяйственном положении...

И он начал отвечать...

И опять это была беседа о том, что волновало людей, о чем они думали, что их радовало и печалило.

Час спустя от подъезда дома на Малой Дмитровке отошла, пофыркивая, крытая брезентом машина. А в зале остались люди, для которых жизнь по сути только начиналась. И построить ее они хотели своими руками.

# Часть вторая



**П**ожалуй, эта дорога ничем не была примечательна. Вагон, битком набитый людьми; едкий, ставший привычным запах жженого угля, карболовки, пота и нескончаемые разговоры каких-то буржуйского вида дам о том, что «революцию сделали, а хлебушка не дали». Яшка не выдержал и, свесившись со своей третьей полки, крикнул:

— Да чего вы языками-то треплете: «не дали, не дали»? Может, Советская власть подрядилась бесплатно вас кормить?

— Ишь, какой идейный, — надула губы одна из женщин. — А что ж ты прикажешь делать?

— Работать, вот что...

— Верно, корешок!

Из соседнего купе высунулась взлохмаченная светловолосая голова. На Яшку смотрели лукавые глаза.

— Верно агитируешь. Нынешним дамочкам хлеб на блюде с каемочкой подавай. А вот этого — не видали? — Он показал кукиш.

Светловолосый оказался матросом, человеком очень веселым. В его купе не смолкал смех: он без остановки «травил» самые дикие морские истории.

На станции Няндома, куда поезд прибыл в полночь, Яшка решил сходить за кипятком. С жестяным чайником в руке, он пробирался к выходу из вагона, как вдруг расположившаяся в проходе баба дико закричала: оказалось, он наступил ей на руку. Потеряв равновесие, Яшка рухнул на бабу всем телом, и та еще сильнее завопила: «Ратуйте, православные! Где мой мешок? Грабят!»

Яшка не успел опомниться, как чья-то сильная рука схватила его за шиворот и выволокла из вагона. Только на улице он увидел, что это был его новый приятель, матрос.

— Ты что, сдурел?

— Прости, братишка, впотьмах не разобрал, — смутился матрос. — Это та спекулянтка меня с панталыку сбила. Каюсь, подумал, вор... А я смерть воров не люблю. Вот иродова баба, каким благим матом заорала. Ладно, я ей, стерве, штуку сотворю. Давай будем все же знакомы — Иван Рябов со старой галоши «Чесма».

Курбатов, улыбнувшись, ответил на рукопожатие, и Рябов вдруг заспешил:

— Подожди тут, я сейчас комедию разыграю.

Он пробрался в вагон, и в открытые двери Яшка услышал, как матрос крикнул:

— Приготовьте документы! Проверка!

Через некоторое время до Курбатова донесся его хрипловатый голос:

— Вас-то мне, мамаша, и надо. Ну, вставайте, собирайтесь, да поскорей. Я вас к месту назначения представляю.

— И чего тебе надо от меня? — зашумела баба. — Документ мой в порядке, никуда я не пойду.

— Не в документе дело, а в том, мамаша, что вы по всем статьям подходите, — гремел матрос.

— Да куда я подхожу-то? Чего пристал? Давай мою бумажку... — уже испуганно зачастила баба.

— А подходите вы, мамаша, под приказ вашего святого Ивана Кронштадтского... Слышали такого? Он приказал, чтобы цыплят теперь бабы высиживали. Кур-то всех поели. Ну, собирайтесь, мамаша!

— Да врешь ты все, дьявол, — заплакала баба. — Никакого такого приказа нет...

Рябов терпеливо объяснил ей:

— Я при исполнении служебных обязанностей. Прошу меня не оскорблять. Собирайтесь! Я шутить больше с вами не могу.

Баба плакала уже навзрыд.

— Да пусти ты меня, красивый! Мне уже и ехать всего сто верст...

— Что это? — загремел вдруг матрос. — Вы мне, мамаша, взятку даете при исполнении моих служебных обязанностей? Граждане, всех прошу в свидетели. Вот эта гражданка мне пачку «лимонов» хотела сунуть...

Держа на плече большущий мешок, Рябов появился на площадке вагона. За ним, всхлипывая, шла тетка.

Только они выгрузились на платформу, как третий раз грохнул вокзальный колокол. Яшка и матрос быстро вспрыгнули на ступеньки вагона.

— Мерси бонжур, как говорят... Привет вашим, когда увидите наших, — помахал Рябов рукой совершенно растерявшейся бабе.

В Архангельске Курбатова ждал сюрприз. Подъезжая к вокзалу, он еще издали увидел одиноко стоявшую знакомую фигуру и заорал, сорвав с головы шлем:

— Лобзик! Я здесь...

Минуту спустя, они стояли друг против друга, и Лобзик торопливо говорил:

— А я тебя, брат, уже отчаялся встретить. Понимаешь, как получилось? Только ты уехал — бац, из губкомла еще разверстка на пять человек. Ну, я и напросился...

Яшка тоже был счастлив — все-таки не один.

Они перебрались на пароходе через Двину. Осень в этих краях уже кончилась. Стояла бесснежная пока, но морозная погода, и пароходик шел, раздвигая бортами ледышки. Яшка слушал рассказ Лобзика — о курсах, о ребятах, о начальнике, о шамовке, смотрел не отрываясь на берег, на низенькие дома, маковки церквей, длинные штабеля досок — лесные биржи — и чувствовал, как тоска, которая отпустила его в Москве, снова начинает подступать к сердцу. Ему неудобно было расспрашивать Лобзика о Клаве, да и

что мог он рассказать? Последнее письмо от нее было всего недельной давности.

Курсы политруков размещались в помещении бывшего губернского архива — в длинном белом одноэтажном здании с низенькими окнами и сводчатыми потолками, выстроенном еще при Аракчееве. Ребята говорили, что прежде здесь была тюрьма. Неподалеку находился кинотеатр «Мулен Руж», и это понравилось Яшке. За кинотеатром была барахолка: там торговали английским табаком и тупорылыми трофейными лыжными ботинками — шекельтонами.

Курбатов привык быстро сходитьсь с новыми товарищами. Сейчас, едва устроившись, он уже знал добрый десяток курсантов — кто они и откуда — и был польщен тем, что его наперебой спрашивали о съезде, о Ленине, о речи, которую здесь еще не читали.

Лобзик, слушавший его с горящими глазами, все поторапливал: «Ну, ну...» Ему казалось, что Яшка слишком долго добирается до главного — до встречи с Ильичем. А Курбатов не мог рассказывать иначе: все было важно.

Он не заметил, как в дверях появился незнакомый пожилой мужчина в военной гимнастерке и высоких, закрывающих колени сапогах. Все вскочили. Тот, кивнув: «Продолжайте!», сел на чью-то кровать и достал из кармана кисет. Но Яшка смутился и замолчал.

— Что ж вы, товарищ Курбатов? Так интересно говорили и вдруг...

— Я уже все рассказал.

Военный, свернув папироску и несколько раз облизав ее, усмехнулся:

— А у нас вот не все еще понимают, как учеба нужна... Мы, говорят, революцию делаем, можем и без политэкономии обойтись... Знай бей буржуев — и все тут.

Ребята вежливо улыбнулись. Улыбнулся и Яшка, еще не вполне понимая, какая может быть связь между битьем буржуев и политэкономией. Кто-то спросил:

— А политэкономия — про что это, товарищ Ходотов?

Курбатов пытался вспомнить, где слышал эту фамилию: «Ходотов... Ходотов... А, Лобзик на пароходе

говорил — комиссар курсов!» Тем временем Ходотов, неторопливо закурив и щуря от дыма один глаз, хитровато поглядел на спрашивающего:

— Политэкономия-то? Да так... про всякое. Про золотишко-серебришко.

— Значит, денежки считать? Вроде бухгалтеров?

— Вот, вот, — обрадовался Ходотов. — А потом вас всех кассирами работать пошлем. Кого в булочную, кого еще куда...

И вдруг серьезно сказал:

— Нет, ребята, это наука такая... ну, вроде живой воды. Знаете сказку: ослепнет человек — так стоит его только помазать живой водой, сразу прозреет. Без этой науки мы — как слепые котята. Вот ты, товарищ Курбатов, например, знаешь, почему капиталисты богатели, а рабочие нищали?

Яшка удивленно пожал плечами:

— Конечно, знаю. Эксплуатировали они нас, вот и все тут.

— Ну, а как же они так эксплуатировали? — допытывался Ходотов.

— Как это «как»? — не понял Яшка. — Ну, работали мы на них...

— А ведь они-то платили вам за работу?

— Ну, платили.

— Значит, не на них вы работали, а на себя?

Яшка буркнул что-то насчет штрафов и смутился вконец. Ходотов потрепал его по плечу:

— Ничего, все узнаешь. Вот ведь как получается, ребята, простая вещь, а растолковать ее даже наш делегат не смог.

И он начал объяснять, что такое прибавочная стоимость. Все оказалось так ясно, что ребята разочарованно переглянулись. А Яшка, раздумывая над услышанным, досадливо поморщился: «Дурак я, что ли? Просто ведь, как огурец...»

Но через несколько дней он уже не говорил и не думал — «просто, как огурец». К вечеру у него от занятий голова шла кругом: в ней путались понятия, формулы, выводы.

Как-то Лобзик пожаловался:

— Убегу я отсюда, Яшка. Ну на кой бес мне эти капиталы?

Он кивнул на том Маркса. Яшка в это время —

в который уж раз! — вслух перечитывал строчки: «Всякий труд есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физиологическом смысле слова, — и в этом своем качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образует стоимость товаров». Лобзик взмолился:

— Да оставь ты это! Я, например, не могу больше.

Яшка, подняв на него воспаленные глаза, сказал угрожающе:

— Убежишь — прибыю. Понял? И дружба врозь.

На курсантов сразу взвалили массу занятий. Но Яшка не жаловался. Ребята косились на него: «Смотри, какой кремешек! Будто все ему нипочем...» А он вспоминал тишину огромного зала, невысокого человека, разрубающего рукой воздух, и его слова о том, что надо учиться коммунизму.

Первым серьезно нарушил дисциплину Лобзик. Вечером он стоял на посту у ворот. Через две трамвайные остановки расположилась красноармейская чайная, где можно было достать чай с монпансье и маленький кусочек черного хлеба, чаще всего с повидлом. Все это выдавали бесплатно, по красноармейской книжке. Лобзик снял тяжелый тулуп, завернул в него винтовку и все это поставил в сугроб. Потом закрыл калитку с внутренней стороны, перемахнул через высокий забор, сел в трамвай и поехал в чайную.

Комиссар Ходотов в этот вечер лично обходил посты. Он наткнулся на торчащий из сугроба тулуп, забрал винтовку и снес ее в караульное помещение. Возвратившийся Лобзик увидел: тулуп валяется на снегу, а винтовки нет. Ему ничего не оставалось, как самому пойти в караульное помещение — там он был сразу же арестован.

Утром, на общекурсовой поверке, его вывели и поставили перед строем. Ходотов зачитал приказ начальника курсов: Лобзику дали пятнадцать суток гарнизонной гауптвахты.

Вернулся Лобзик с гауптвахты похудевший и притихший.

— Вот так-то... — грустно качал он головой, то и дело подтягивая галифе. — Штаны не держатся...

Что-то изменилось в нем — даже говорить стал меньше и сдержаннее.

Эту перемену заметил не один Курбатов. Но о том, что случилось, Лобзик рассказал только ему.

...В одну из суббот на лесобирже, где работали арестованные, был субботник. Пришло несколько десятков девушек, в основном работников комитетов комсомола. Среди них он заметил одну, самую простенькую, но показавшуюся ему необыкновенной. Во время перерыва они оказались рядом.

Ее звали Нина Гаврилова. Лобзик, стыдясь своего «арестантского» вида, долго не решался заговорить с ней. Она первая обратилась к нему, надо полагать, привлеченная огромными черными глазами парня.

И Лобзик не сдержался: наврал о себе с три ко-роба. Он наговорил ей такого, что потом, вспоминая, только краснел, — и что он тоже комсомольский работник, и что на курсы приехал сразу со съезда, и что воевал против Колчака...

Но предаваться чувствам пришлось недолго: ночью курсы были подняты по тревоге. Ребят и прежде будили по ночам — они выбегали с оружием и строились во дворе. Потом начинался марш — далеко за Мхи, где англо-американская разведка совсем недавно расстреливала архангельских коммунистов.

На этот раз тревога была не похожа на ночное ученье. Во двор выкатили санки. На них положили цинки с патронами, и озабоченный чем-то Ходотов вместе с начальником курсов пересчитал их. Высокий человек в наглухо застегнутой длинной кавалерийской шинели то и дело поглядывал на часы и торопил. Наконец он повернулся к курсантам, и по тому, как начал говорить — тихо, с тревогой, — Курбатов понял: да, это не учение.

— Вот что, товарищи. Идем мы на боевое задание вместе с чекистами. Под городом сегодня действует банда. Мы должны взять всех живьем. Ну, а если не удастся... то грош нам цена.

Шли молча.

Быстро кончались освещенные улицы. Впереди теперь была темень, глухая, почти ослепляющая. Вре-

менами за спиной вдруг словно бы начинало светать — в небе появлялись, росли, ширились голубовато-зеленые полосы. Они перемещались, мерцали тонкими игольчатыми стрелами и так же быстро, как возникали, гасли. Тогда еще гуще становилась темнота, чернее небо.

Через час отряд остановился в поле. Здесь росли, прижавшись к земле, занесенные снегом можжевельниковые кусты, тянулись вверх из-под снежных шапок скрюченные ветви карликовых берез. Хорошо еще, что погода стояла теплая: в городе термометр показывал три градуса ниже нуля. И все-таки, разгоряченные маршем, ребята теперь дрогли.

Курбатов почувствовал озноб и глубже зарылся в снег, под куст. Соседей он не видел, но знал: ребята где-то здесь, рядом, и так же мерзнут сейчас.

Через час он просто не знал, куда себя деть. Через два, немного притерпевшись к холоду, поймал себя на том, что ему неудержимо хочется спать. С трудом взял он негнушимися пальцами пригоршню снега и приложил к глазам. А когда слева суматошно затрещали выстрелы, даже не вздрогнул, не заволновался, а только подумал: «Ну, наконец-то...»

Какие-то тени мелькнули неподалеку. Сосед справа начал стрелять, и Курбатов, опомнившись, закричал:

— Не стреляй... живьем... бежим...

И Яшка побежал, но ему казалось, что он только медленно, как это бывает во сне, переставляет ноги.

...Опять на горизонте начало тянуться вверх, раздвигая темноту своим неживым, голубоватым светом, северное сияние. «Тени» уходили. Теперь Курбатов отчетливо видел три согнувшиеся фигуры. Курсант, бежавший рядом, припал на колени и все-таки выстрелил: один из бандитов повалился в снег.

Курбатов выстрелить не успел: сияние, освещавшее пустую белую равнину, начало гаснуть. Выстрелы хлопали уже впереди — далеко и глухо. Яшка споткнулся о лежавшее на снегу тело и, чиркая непослушными руками спички, нагнулся над убитым. На Курбатова глядели мертвые глаза бывшего начальника милиции эсера Карякина.

Четыре месяца — не ахти какой срок. А Курбатову чудилось, что прошло уже столько, что даже не сосчитать. Целая жизнь!

Писем от Клавы не было уже месяц. Лобзик не утешал, но неизменно на чем свет стоит бранил почту, переводил разговор на старые письма и незаметно для Курбатова заставлял его лезть в сундучок, доставать и перечитывать их. Действительно, становилось легче. Клава писала, что ей очень одиноко, что она ждет его.

— И чего она влюбилась-то в тебя? — тараша свои цыганские глаза, удивлялся Лобзик. — Нос загогулиной, бровей полное отсутствие. Зубы хорошие, что у лошади, а вот подбородочек подгулял малость. Перестарались, делая тебе подбородок, лишку налепили.

Курбатов поднимал вверх указательный палец:

— Тише!

— А что? — насторожился Лобзик.

— Слушаю, как у тебя, скелета ходячего, кости скрипят...

И вот сложенное треугольником, какое-то измятое, будто переданное через сотню рук, наконец-то пришло письмо. Лобзик, влетев в казарму, заставил Яшку сплясать. Пришлось сплясать, но, развернув долгожданный серый треугольник, Яшка помрачнел.

— Это... не от нее.

Письмо было от Вали Кията. Строчки расплывались у Яшки в глазах. Лобзик, почуяв недоброе, тревожно спросил:

— Что случилось?

— Читай, я не могу...

Кият писал:

«Здорово, дружище!

Твое письмо получил. Не сообщал я тебе ничего о Клаве потому, что не хотел расстраивать. А теперь думаю, что зря тебе ничего не писал о ней. Буду писать кратко и только о том, что знаю. Разные сплетни писать не буду. Их в поселке много.

После твоего отъезда Клава никуда не ходила. Бывала только в комсомольской ячейке. Девчата и ребята немного над ней подсмеивались. Началось, по-моему, это в марте. Клава пришла на танцы. К ней сразу подлетел этот трепач Мишка Трохов и

целый вечер танцевал с ней. Клава и Мишка все время были вместе. Что там промежду их было, я не знаю. Только Клаву стали предупреждать некоторые девчата и ребята, и я с ней говорил. Она и от ячейки совсем отбилась. Клава только смеялась, а потом на нас стала сердиться и говорить: «Не ваше дело». Тогда мы взялись за Мишку, его предупредили, а ты знаешь его. В общем, ничего не помогло. Однажды, во время танцев, мы вызвали Мишку на крыльцо и стали угрожать ему, что намнем бока, если он не оставит Клаву в покое. Он засмеялся, вынул свой шпалер и показал его нам: «А ну налетай, кому жить надоело. Сколько вас тут на фунт, сушеных, подходи». Потом положил свой наган в карман, обозвал нас шкетами и снова ушел плясать.

Потом я узнал, что Мишка затащил Клаву к себе домой. Одним словом, на следующий день Мишка ходил с разбитой и исцарапанной физиономией. Клава как-то узнала о его темных делах и заявила в милицию. Мишка арестован. Он был главой шайки спекулянтов, которая орудовала в поселке. Говорят, его скоро будут судить в губернском городе. А что не пишет тебе Клава, так, наверно, ей некогда, она занята делами этого прохвоста Трохова, ее почти каждый день вызывает следователь. Она все еще ходит сама не своя. Сейчас стала чаще посещать ячейку, но чувствуется, что стыдится своего недавнего поведения. Она у меня и у Чугунова просится, чтобы ее послали с отрядом на банду или разрешили ей поехать на Южный фронт. Я ей не разрешил, но вот Чугунов, кажется, пообещал. Я думаю, что тебе она не пишет потому, что стыдно ей, она ведь знает, что мы о ней тебе напишем.

Ты уж не очень-то из-за этого убивайся, а то Лобзик пишет, что ты сам не свой ходишь. Я не знаю, что это за штука любовь, так что, может, и неправильно пишу. Яшка, приезжай, все тебя ждут. Других новостей пока нет. Привет тебе от девчат и ребят.

Остаюсь твой *Валентин*».

— Встать!

Яшка нехотя поднялся, вытянул по швам руки.

— Опять не слушаете, курсант Курбатов? Не напрасно ли вы занимаетесь здесь? Учитесь хуже всех, разленились... Вы сами-то чувствуете это?

Яшка молчал.

— В шестнадцать ноль-ноль зайдите ко мне в кабинет. Понятно?

Яшка повторил: «Понятно». Ему действительно было понятно, что он куда-то катится, что не остановиться уже...

В назначенное время он явился к военкому. Доложив по уставу о прибытии, остался стоять у дверей. Ходотов кивнул на старое, полуразвалившееся кресло:

— Садитесь!

Яшка сел, стараясь не глядеть на комиссара. А тот начал расспрашивать его, тихо, но настойчиво:

— Есть у вас здесь товарищи? Ну, такие, с которыми вы могли бы поделиться своим... горем?

Яшка кинул на него быстрый взгляд. «Да он... он же все знает!» Судорога свела горло. Он хотел ответить Ходотову и не смог.

— А что, Яша? Могу я знать о твоей беде?

Курбатов молчал.

— Значит, не могу, — ответил сам себе военком, откидываясь на спинку стула. — Тебе, Курбатов, восемнадцать?

— Девятнадцатый...

— А мне пятьдесят второй!

И так же тихо Ходотов начал рассказывать Яшке о своей жизни. До революции — в подполье, пропагандистом был, в нелегальных рабочих кружках преподавал. С 1918 года в Красной Армии. У Щорса — комиссаром батальона...

Потом и Яшка как-то вдруг все рассказал Ходотову.

Ходотов долго вглядывался в фотографию Клары, перевернул, прочитал на обороте: «Моему дорогому, любимому, самому близкому Яшеньке! Всегда с тобой, на всю жизнь вместе», наконец поднял голову и пристальным взглядом посмотрел на Курбатова:

— Трудно, Яша? Понимаю. А в руках себя держать надо. Нельзя поддаваться такому настроению, оно далеко заведет. Я думал, что у тебя воля крепкая, а тебе еще воспитывать ее надо...

Когда Яшка, приехав в Печаткино, сошел с поезда, ему захотелось тут же сесть в состав, идущий обратно.

Курбатов почувствовал, как вокруг него вдруг появилась пустота. И Лобзика не было, — он остался в Архангельске на комсомольской работе. Остался, конечно, потому, что там была Нина. Курбатов понимал, что завидовать вроде бы нехорошо, но все-таки не мог не завидовать.

Встреч с Клавой он избегал. Она же, наоборот, часто ждала, когда он выйдет из общежития, клуба или дома, где помещались всеобуч и ЧОН. Но Курбатов всегда был с кем-то, и Клава не подходила.

Все же встреча состоялась. Однажды, дождавись, когда Курбатов остался один, Клава догнала его.

— Ты, пожалуйста, не считай... что я от тебя чего-то хочу, — начала она. — Мне только все рассказать нужно. Ты ведь ничего не знаешь! Может, когда узнаешь, не так плохо будешь думать обо мне...

Они не заметили, как очутились на железнодорожной ветке, и медленно побрели по шпалам. Клава смотрела на Курбатова грустным взглядом, а он глядел под ноги. Голос Клавы доносился до него словно бы издалека.

— ...Помнишь, я вывихнула ногу и ты возил меня гулять на финских санях? Тогда мы немного поспорили. Я говорила, будто человека легко узнать по виду, что Трохов хороший парень, а ты из ревности плохо о нем отзываешься. Но ты оказался прав. Любила-то я, конечно, тебя одного и... и... сейчас люблю и буду любить... Не запретишь. Но теперь уже от этой любви пользы нет... Тогда, когда мы с тобой спорили, Трохов казался мне хорошим парнем. Вежливым, предупредительным. Во время танцев чего только не говорил! Пока ты был со мной, у меня к Трохову был только... ну, интерес со стороны. Кроме тебя, мне тогда никого не нужно было. Но вот ты уехал... Мне и поговорить было не с кем. Наверное, если бы бабушка была жива, ничего бы не произошло...

Курбатов насторожился. Ему вдруг показалось, что Клава хочет упрекнуть его в чем-то. Но Клава

продолжала по-прежнему ровным голосом, будто разговаривая сама с собой:

— Сидела я все время дома, думала о тебе. Заходили девчата, приглашали в клуб, а я не шла. Потом как-то в воскресенье пришла Зина и стала звать на танцы. Тут дед вмешался: «Сходи, потанцуй! Чего ты все сидишь, как вдова соломенная. Он-то там тоже, наверное, ходит». Это меня ровно иголкой кольнуло. Я ведь тоже очень ревнивая. Я тебя ревновала к каждой девушке, с которой ты разговаривал. Только умела скрывать.

...Я собралась и пошла в Народный дом. Там, конечно, был Трохов. Увидел меня, сразу оживился. Подлетел, пригласил на вальс, спрашивал, почему не прихожу, уж не заболела ли, часом. Говорил, что очень скучает без меня, что вообще не знает, что такое с ним происходит. Я все это слушала, и мне было хорошо...

Потом он меня провожал домой и ничего себе не позволял. Стала я ходить на каждые танцы и... и не знала, что тебе писать. Напишу, разорву, снова напишу... Ничего не получалось. Я и прекратила. Почему-то ты в моей голове был в каком-то тумане, а Трохов постоянно рядом. Но я ничего такого тогда не думала, знала, что люблю тебя. Все это казалось мне временным. Исчезнет, как ты приедешь.

Курбатов шел медленно, глядя в землю. Он знал, что Клаве трудно рассказывать. Но ведь и ему не легче слушать! Он не замечал ничего: ни того, где они шли, ни самой Клавы...

— Как-то раз танцевали, было жарко. Трохов предложил выйти на крыльцо. Он держал меня под руку. Было часов девять, и он сказал, что не стоит возвращаться обратно в зал, а лучше пойти погулять. Я согласилась. Он принес мне пальто, и мы пошли. Вдруг Трохов сказал: «Вот мое окно. Вот мое одинокое жилище! Плохо быть холостяком. Нашел я себе невесту, да она не хочет быть моей женой. А я бы ее на руках носил, молился бы на нее, как на икону. Малейшее ее желание было бы для меня законом». Я поинтересовалась, кто его невеста. Он заявил, что сейчас этого сказать не может и что если я наблюдательна, то давно бы должна все понять...

В общем, он уговорил меня, и я зашла к нему в комнату. Там было очень грязно — везде валялись окурки, кровать была не заправлена. Он сразу засуетился, притащил веник, стал подметать... Все это получалось у него так неуклюже, что я не выдержала и взяла у него веник.

Пока я мела пол, он хлопотал у стола. Я закончила, он вынес мусор и пригласил меня к столу. На нем стояла бутылка вина и бутылка самогона, много разной закуски, такой, какой я давно и не видела. Но как Трохов ни упрашивал, я не стала пить и не захотела сесть за стол. Он рассердился, назвал меня «недотрогой» и еще как-то. Потом налил себе полный стакан самогонки, залпом выпил. И сразу же изменился. Схватил меня, хотел насильно поцеловать. Но я вырвалась и ударила его по лицу. Дверь оказалась закрытой. Я отбивалась изо всей силы... Но...

Вот так, Яша, все было. Потом из-под подушки упал сверток, и из него высыпались на пол разные золотые вещи. Трохов испугался, начал их подбирать. Я схватила с комода ключ и открыла дверь.

Сразу же побежала в милицию, к Лукину, обо всем ему рассказала. Он тут же пошел к Трохову делать обыск. Дома тоже все рассказала. Дедушка схватился за сердце и ушел в другую комнату. Папа молча выслушал, встал, оделся, сказав: «Я — к Лукину».

Хотела утопиться. Потом подумала: «А что я, собственно, сделала? Меня силой сломил подлый человек...» На полдороге к реке повернулась и пошла домой. Дедушка приласкал меня. Вернулся папа и рассказал, что Трохов с продсклада воровал продукты и менял их в поселке на золото. Ну вот, Яша, и все... Суди теперь...

Какой-то глухой, но все растущий внутренний голос упорно твердил ему: «Посмотри, посмотри, как она исстрадалась за это время! Ну, ошиблась, тяжело поплатилась... Нельзя ее сейчас оттолкнуть...»

И Яшка осторожно прижал Клавин локоть к себе. Она освободилась, покачав головой:

— Не надо. Я знаю, это уже невозможно. Я... я сама не прощу себе... даже если ты простишь. Пойду, Яшенька. Не провожай меня...

Ночью отряд ЧОНа был поднят по боевой тревоге. Курбатов жил далеко и одним из последних прибежал на место сбора.

Чугунов пожал руку тяжело дышавшему политруку.

— Бегун ты отличный! Но мы уже построиться успели.

Он повернулся к бойцам.

— Сейчас начнем. А пока... Закуривай, ребята!

— А если мы не курим, что нам делать? — раздался тонкий девичий голос.

— Ну ты, стрекоза! — погрозил Чугунов пальцем в сторону левого фланга. — Вопросы оставить при себе!

Яшка огляделся. Бойцы стояли в две шеренги, лица у всех были сосредоточенные. На левом фланге была группа девушек, одетых в ватники и серые платки. У всех в руках — винтовки, только у двух — санитарные сумки через плечо. Но и у них на пояском ремне висели кобуры, из которых торчали ручки револьверов. Мелькнуло бледное лицо Клавы. Курбатов сделал вид, что не заметил ее, а сам потихоньку стал продвигаться в ту сторону.

В это время Чугунов крикнул:

— Внимание, товарищи! Бросай курить!

Курбатов застыл на месте. Начальник отряда начал говорить:

— После разгрома белой армии Миллера в наши северные деревни и леса просочились осколки белой банды. Во главе ее стоят офицеры. Вы знаете, совсем недавно они подняли мятеж в Вельском уезде. В селах и деревнях белогвардейцы вербуют себе кулацких сынков и всех, кто недоволен Советской властью. По имеющимся у нас сведениям, в банде около семидесяти человек. Есть пулемет «максим». Наша задача — ликвидировать беляков.

Курбатов подошел к Клаве. Она посмотрела на него и слабо улыбнулась. Но в глазах ее была строгость, какой Курбатов раньше не замечал. На плече Клава держала винтовку, и Яшка тихо спросил:

— Ты зачем пришла? Ведь стрелять не умеешь!

— То есть как это — не умею?

— А вот так. Шутки плохи... бой будет.

Клава ехидно улыбнулась:

— Наверное, не хуже вас стрелять умею, товарищ политрук.

— Когда ж это ты научилась?

— Думаешь, пока ты на курсах был, все здесь сидели сложа руки? А я, между прочим, за меткую стрельбу благодарность получила.

— Вот как?.. — удивился Яшка.

Клава рассмеялась и, толкнув подругу, кивнула на Курбатова:

— Поборник женского равноправия...

Яшка сказал:

— Ну, если так, то подожди...

И быстрым шагом пошел прочь от девушек. Через несколько минут он появился с карабином в руках — этот карабин был давно закреплен за ним — и подошел к Клаве.

— Винтовку давай мне, а карабин возьми, он легче.

— Не могу, Яша. Без разрешения командира не могу.

— А я говорю — бери!

— Хоть ты и политрук, но винтовку мне выдавал командир, и ее номер записан за мной.

В это время к ним подошел Чугунов:

— О чем спор?

— Да я ей, дурехе, свой карабин отдаю, а она не берет.

— Молодец, Клава, знаешь службу... — не улыбувшись, сказал Чугунов. — Она, брат Яков, без тебя тут во всеобуче лучшим бойцом была. Ладно, бери, Клава, карабин, а винтовку отдай ему. Разрешаю.

Заводской паровоз, пыхтя, притащил две теплушки, в которые быстро погрузились бойцы. Когда они приехали на разъезд Печаткино, уже совсем рассвело. Было холодно. Густая завеса мелкого осеннего дождя стояла в воздухе. В низинах, как молоко, разлился густой, белый туман.

Отряд поспешил спрятаться под навесом открытого пакгауза. Здесь бойцы построились и стали ждать дальнейших распоряжений.

Чугунов, посоветовавшись с начальником штаба и политруком, объявил:

— Нужны пять добровольцев в разведку!

Вперед вышли почти все.

— Нет, так не получится... Становись!

Чугунов снова построил отряд и сам выбрал бойцов. Курбатов видел, как к начальнику штаба подошла Клава и, что-то сказав ему, встала рядом с назначенными.

Курбатов отозвал ее в сторону и, едва сдерживая волнение, сказал шепотом:

— Не ходила бы ты... Ни к чему это.

— Нет, Яша. Я давно просила Чугунова послать меня на опасное дело.

— Зачем тебе это?

— Надо, — сказала девушка, — хочу проверить, настоящая ли я...

В это время старший группы разведчиков командовал:

— Пошли, ребята!

Клава поправила ремень карабина и бегом догнала бойцов. Оглянувшись, она помахала Курбатову рукой, потом подняла камешек и, рассмеявшись, бросила в его сторону. Разведчикам надо было шагать по шпалам до северного семафора. Группа удалялась, а Курбатов все стоял и смотрел ей вслед. Увидев, что Клава опять махнула ему рукой, он сдернул шлем и покрутил им в воздухе.

...По приказу Чугунова разведчики должны были вернуться в полдень. Пришли трое, среди них — старший. Он доложил, что двое обследовавших участок леса вправо от железной дороги ничего не обнаружили. Боец Зимин и Клава, которые получили задание разведать полосу влево от дороги, к сроку не вернулись.

— Больше ждать их мы не могли... — закончил старший.

Чугунов, выслушав его, помолчал. Потом сказал раздумчиво:

— Или сидят где-либо в лесу, чтобы себя не обнаружить, или попали бандитам в лапы...

Курбатов почувствовал, как тяжело заколотилось сердце. Чугунов заметил состояние политрука:

— Не горюй... Зимин разведчик опытный, да и Клавка девка не промах. Сейчас пойдем выручать.

Через десять минут отряд уже рассыпался в цепь и стал прочесывать густой лес левее разъезда. Вскоре чоновцы наткнулись на дозор белокулацкой банды. Все пять бандитов, оказавших сопротивление, были убиты.

Отряд вышел на большую заросшую кустарником поляну, которую окружал дремучий, труднопроходимый лес. В целях предосторожности Чугунов приказал остановиться на опушке и залечь.

Вдруг мрачную тишину нарушили один за другим два выстрела. Из леса поднялись испуганные птицы, с криком пролетели над кустами и снова сели на деревья. С той стороны поляны доносились какие-то глухие стуки — должно быть, там были люди...

Курбатов находился на левом фланге отряда, в отделении Кията, когда прибежал связной от Чугунова с приказом: разведать боем лежавший впереди лесной участок. Бойцы, услышав приказ, обрадовались: больно уж надоело им принимать в траве холодную ванну.

— Пошли, ребята! — тихо скомандовал Кият и осторожно шелкнул затвором винтовки. — Ниже наклоняйтесь, чуть что — ложитесь и ждите команды.

Бойцы двинулись вслед за Киятом. Курбатов тоже поднялся, проверил винтовку, гранату за поясом, открыл кобуру и побежал вперед, опередив командира отделения.

— Ты куда, Яшка?

— Как куда?.. — глухо откликнулся Курбатов и продолжал, пригибаясь, двигаться вперед. Кият бросился за ним, но не успел его догнать, как тишину разорвала пулеметная очередь. Кият повалился на землю, за ним упали Курбатов и бойцы. У Валентина по руке потекла струйка крови. Он попытался незаметно сдернуть с шеи шарф и замотать им кисть, но Курбатов увидел.

— Ты что, ранен?

— Пустяк, царапнуло только...

— Ползи назад, там перевяжут.

Кият сделал вид, что ничего не слышал.

— Валька, не чуди...

— Да не пойду я... чего пристал!

— Товарищ Кият, — отчеканил Курбатов, — я вам приказываю.

— Есть, товарищ политрук.

— За мной! — скомандовал Курбатов и по-пластунски пополз вперед.

Снова загремели пулеметные и винтовочные выстрелы. Белобандиты, очевидно, залегли на самой опушке. Недалеко уже был виден бруствер окопа. Курбатов узнал эти места: здесь строила линию обороны их комсомольская ячейка. Вон там, слева, работали девчата, а вот тут он сам — укреплял опалубку на стенках окопов...

Мозг неотвязно сверлила мысль о Клаве: «Неужели попала в лапы к зверюгам?» Это было нестерпимо. Поднявшись, он быстро побежал вперед, и бойцы последовали за ним. Бандиты, должно быть, заметили их, и снова затарахтел пулемет, забухали винтовочные выстрелы. Дальше двигаться было невозможно.

Чугунов, наблюдавший за действиями отделения, приказал через вестового приостановить продвижение, обойти пулемет с тыла и уничтожить его.

Курбатов тщательно рассматривал в бинокль опушку леса. Наконец в густом кустарнике он разглядел тупое рыло «максима». На какой-то миг за широким щитом мелькнула голова человека. И Курбатов принял решение:

— Слепнев, Зубов, ко мне!

Бойцы подползли к нему, и за ними Яшка вдруг увидел улыбавшегося во весь рот Кията. Тот поднял вверх руку, перевязанную белоснежным бинтом. Яша рассердился не на шутку, но лишь погрозил Кияту кулаком. «Упрямец! А все же молодец. Ведь и я бы так же поступил...»

— Ну, пошли... Возьмите-ка мою винтовку...

Боец взял у Курбатова оружие.

— И давай твои гранаты. Это им угощение...

Курбатов подвесил к поясу гранаты, вытащил из кобуры наган и пополз.

Продвигаться в густом ельнике было тяжело. При малейшем неловком движении деревья обдавали ледяным душем. Скоро бойцы проникли в сосновый бор. Здесь, недалеко, была вторая линия окопов. Вот она... Где-то тут блиндаж, в котором тогда ночевали комсомольцы, не желавшие терять времени на по-

ездки в поселок. Эти места снова напомнили Курбатову о Клаве, и еще сильнее заняло сердце.

Впереди, у основания могучих стволов, показался холмик, поросший травой и молодыми сосенками. Это и был блиндаж. Около входа стояли двое — один в темно-зеленой шинели и в фуражке с большим козырьком, другой — в простом деревенском армяке, подпоясанном цветным кушаком, и в сапогах с высокими голенищами.

Рука Яшки потянулась к кольцу гранаты, а бойцы взяли бандитов на мушку. Однако Курбатов сдержался и приказал осторожно отползти назад. И вот они снова в кустарнике...

Курбатов прислушался — стояла полная тишина. Он немного подался вперед, оглядел опушку и справа от себя увидел пулемет с притаившимся расчетом. Прикрываясь кустарником, Яшка медленно пополз. И когда враг находился не более чем в двадцати шагах, Курбатов, встав на одно колено, бросил гранату.

Сразу же после взрыва по поляне прокатилось «ура»: это чоновцы пошли в наступление. Белобандиты, не чувствуя поддержки пулемета, вяло отстреливались и наконец начали отступать в глубь леса.

Израсходовав все гранаты, Курбатов с наганом в руке побежал к блиндажу. Кият с бойцами нагнал его у самого входа. Они быстро спустились вниз по скользким ступенькам и открыли дощатую дверь.

В углу мрачного, темного помещения мигал огонек: беляки не успели даже погасить коптилку. Курбатов и Кият подошли к столу, на котором были карта, компас и циркуль, полупустые банки консервов, бутылки с самогоном. От зажженных ребятами зажигалок стало светло, и Курбатов вдруг увидел у стены тело. Он с трудом узнал Клаву. Неподалеку от нее лежал Зимин: он был весь изуродован.

Яшка расстегнул ватник Клавы и из потайного кармана, застегнутого булавкой, вынул проколотый штыком комсомольский билет...

Вскоре недалеко от блиндажа была вырыта братская могила, и отряд с военными почестями, с многократным салютом похоронил семерых бойцов — пятерых погибших в бою и Клаву с Зиминим. Курбатов как политрук должен был сказать прощальную речь.

Но говорить он был не в силах. За него речь произнес Чугунов. Бойцы нарвали красной рябины и украсили ею свежий холм.

Чугунов решил допросить пленных. Начальник штаба кулацкой банды долго не хотел говорить. Бледное лицо с нервными, подергивающимися ноздрями и злыми зелеными глазами, холеные руки с длинными, цепкими пальцами выдавали в нем человека, привыкшего к праздной жизни. На вопросы он отвечал медленно. Голос был неприятный, скрипучий...

Однако под конец допроса белогвардеец не выдержал, спросил:

— А вы, господа, сохраните мне жизнь?

Чугунов ответил:

— Мы не господа и не бандиты. Над жизнью твоей не властны. Тебя революционный трибунал судить будет.

Пленный рассказал о том, как поймали и допрашивали Зими́на и Клаву. Он ничего не скрывал. Слушая страшный, циничный рассказ об издевательствах и пытках, которым подверглись их товарищи, чоновцы цедили сквозь зубы проклятья. Курбатов, не помня себя, выхватил из кобуры револьвер. Но его схватили за руку.

— Не распускайся, политрук! Он много знает, стерва, и трус к тому же... — хрипло сказал Чугунов, — лучше выйди пока, не место тебе здесь...

...Прислонившись к сосне, Курбатов смотрел на зиявший чернотой вход в блиндаж. Положив револьвер в карман, он продолжал крепко сжимать его рукоятку...

Основные силы чоновцев все еще прочесывали ближайший лес: они поймали нескольких бандитов, притаившихся под корягами и в ямах. Но вскоре у блиндажа заиграла гармонь — это был сигнал для общего сбора.

### 3

Курбатов привык за эти годы к поездкам, к равномерному стуку вагонных колес, под который думается легко и спокойно. На этот раз ехать было недалеко —

до губернского города. В спешке перед отъездом у него даже не было времени спокойно посидеть и подумать о том большом, что вошло в его жизнь.

На бюро партячейки прием Курбатова в кандидаты РКП(б) занял очень мало времени: вопросов к нему почти не было, он вырос у всех на глазах. Только в заключение Булгаков сказал ему:

— Кончился теперь Яшка. Теперь ты — товарищ Курбатов. Так гляди не подкачай.

На общем собрании вопрос о приеме рассматривался среди текущих дел и тоже не вызвал особых прений. Правда, выступил старик Пушкин. Он заметно волновался:

— Я не оратор и красиво говорить не умею, а скажу просто, по-рабочему. Не осрами нас, Яша. Не ходи по кривым переулкам, пускай тебе обещают в них молочные реки да кисельные берега. Всегда иди прямой дорогой, той, которую нам Центральный Комитет да Владимир Ильич указывают. Если я при моей жизни узнаю, что заглянул ты в какой-нибудь темный закоулочек, смотри, я по-отцовски сниму с тебя порточки да так отдеру, что месяц не сядешь. Понял?

Все засмеялись, а Пушкин, подождав, когда люди успокоятся, сказал:

— Чего смеетесь-то? Если что не так, я ведь предупреждал, что не оратор и складно говорить не умею. Сказал без стеснений! Понял ты меня, парень? Ну и хорошо...

В губсовпартшколу он приехал одним из первых. До него прибыло всего четверо слушателей, и к их приему еще ничего не было готово, даже не успели поставить в общежитии кровати.

Школа помещалась в нижнем этаже длинного трехэтажного здания бывших «присутственных мест»: в старое время здесь размещалось большинство главных учреждений губернии.

Дом стоял на берегу реки. Рядом, за высоким деревянным забором, с утра и до вечера гудел рынок. Нэп возродил свободную торговлю, и сейчас здесь хозяйничали дельцы, спекулянты, а то и просто жулье,

научившееся ловко водить за нос доверчивого городского обывателя. Шипели в масле на таганах поджаристые пышки, испускал навозно-острый запах горячий коровий рубец. Тут же продавали мокрую рассыпную махорку — горлодер, торговали обсосанным на вид монпансье. Воры ловко сбывали краденое, а фармазоны артистически заставляли городских модниц покупать медь вместо золота.

Курбатов с ребятами целыми днями шатался по городу, приглядываясь к давно забытым местам. Долго он стоял перед своей старой школой, а потом быстро пошел прочь, — возвращение к прошлому было тягостным даже в воспоминаниях: он не любил своего детства.

Зато нынешние товарищи ему нравились. Они приезжали каждый день из таких мест, о которых Курбатов и не слышал. Многие из них видели город впервые, о железной дороге знали только понаслышке и понятия не имели о самых, казалось бы, простых вещах. Одеты все были пестро и плохо: в лаптях и белых онучах, в домотканых сермягах, подпоясанных цветными полинявшими кушаками, а то и просто обрывками пеньковой веревки. Были тут пастухи, хлебоборобы — голь перекатная. И середняки, и продавцы кооперативных деревенских лавок, и учителя, и делопроизводители. Но были и рабочие, такие, как Курбатов.

...Приехала из глухой тотемской Кокшеньги Хиония Кораблева, первая без боязни вступившая в малочисленную местную комсомольскую ячейку. Отец прогнал ее из дому, а поп отлучил от церкви. Ядовитые бабы сочиняли про Хионию разные похабные сплетки. Она приютилась у местной учительницы, которую и без того мужики страшали мезтью за то, что она «совращает с пути ихних девок». Учительница оставила Хину школьной уборщицей, а когда из уезда пришла разверстка в губсовпартшколу, посоветовала девушке ехать учиться.

Снова разгорелись в деревне страсти, когда узнали, что Хина едет в какую-то совпартшколу. Досужие языки переводили это название — «собачья беспортошная школа». Бабы судачили о том, что «городские комиссары по всем деревням себе статных девок подбирают» и что «закон есть, по которому городским

комиссарам положено иметь по пятнадцать жен, и менять их будут через год».

И вот в платочке, в домотканом армячишке, в липовых лапотках и онучах, с берестяной пестеркой за плечами, тронулась Кораблева в неизведанный путь. Не смутило ее и то, что надо было пройти до ближайшей железнодорожной станции сто пятьдесят верст — по непроезжей грязи разбитых дорог, в стужу и слякоть...

Ребята покатывались со смеху, слушая рассказ Хины, а Курбатов и улыбался и хмурился. Ему было жаль девушку: нечего и думать, что ее примут в школу. В уезде, как водится, напутали: послали вместо молодого коммуниста неграмотную комсомолку.

Первую ночь все спали в большой, плохо протопленной комнате. Кроватей не было, лежали на голых досках.

Потом приехало еще человек пятьдесят. Общежитие преобразилось. В комнатах стало теплее и уютнее. Посредине каждой стояли длинные, грубо сколоченные столы. К вечеру за ними плотно сидели, склонив головы, курсанты, готовясь к проверочным испытаниям. Особенно беспокоили всех экзамены по русскому языку. Большинству приехавших чаще приходилось писать ручником да сохой, чем пером.

Экзаменационная лихорадка сменилась тяжелой, с непривычки, усталостью. Иван Галкин, пастух из Авнеги, в общем-то начитанный паренек, хотя и прошел по конкурсу, жаловался:

— Ей-богу, братцы, если так и дальше будет — махну обратно в деревню коровам хвосты крутить.

Директор совпартшколы Гуляй-Зайцев, услышав об этом стороной, пообещал:

— Дальше еще труднее станет.

Как и предполагал Курбатов, Кораблеву даже не допустили к экзаменам. Не предполагал он другого — что эта забитая девушка сможет закатить самый настоящий скандал с угрозами дойти «до главного». Минут двадцать из-за дверей кабинета до курсантов доносились громкие голоса и крики. Наконец двери отворились, и директор, красный, растерянный, выскочил из комнаты.

— Ладно, ладно, что-нибудь придумаем! — крикнул он неизвестно кому. Увидев в коридоре группу

ребят, растерянно улыбнулся: — Ну и чертова девка! Совсем извела. Малограмотная, а вот аж в пот вогнала...

Хину устроили в кружевную мастерскую и зачислили в ликбез.

Хотя испытания остались позади, занятия долго не начинались: то не было книг, то преподавателей, и Гуляй-Зайцев, взяв с собой троих ребят, в том числе и Курбатова, с утра до вечера объезжал город в дребезжащей, готовой рассыпаться на ходу пролетке.

Книги они получали то в гороно, то в губкоме партии. Выдавали их чаще всего чистенькие, аккуратные старички, словно бы прилетевшие с других планет. Книги они предлагали тоже какие-то старые и мало кому нужные: «Тарантас» графа Соллогуба или сочинения Сергея Аттавы. Один из них, в прошлом букинист, любил жаловаться:

— Сквозной народ теперь пошел. Никакого уважения к святыням! Соллогуба не берут. Подавай им Маркса, Энгельса и Ленина. Я говорю: «Достолюбезные граждане, вот возьмите, уверяю вас, плакать будете: «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского. Кровью писал человек!» Не берут. А я, поверите, перечитываю в который раз, и все нутро мое клочечт благоденственными слезами...

Но ребята возвращали ему пахнувший плесенью томик.

— «Государство и революция» найдется?

Наконец подошел первый день занятий. В расписании, вывешенном еще накануне, стояло загадочное слово: «Беседа». Галкин покривился:

— Мораль будут читать. Учитесь, детки, постигайте... На вас вся Европа и Азия смотрят... А я всхрапну часок.

...Курбатов, перебирая сшитые нитками чистые тетради, не заметил, как открылась дверь и в класс вошел секретарь губкома партии Данилов. Алексей Николаевич очень постарел, даже потемнел как-то, и только глаза у него по-прежнему были живые, с хитрым огоньком.

Поздоровавшись, он прошел к учительскому столу, оглядел комнату и одобрительно качнул головой:

— А ничего хоромы! Только вид у вас у всех какой-то такой... Не очень радостный, прямо скажем.

А-а, и Курбатов здесь! Тебя что — уже в партию приняли?

— В кандидаты, — ответил смущенный вниманием секретаря Яков.

Данилов снова одобрительно кивнул, а потом хмыкнул — то ли удивленно, то ли с досадой:

— Вот ведь как время бежит! И не замечаешь...

Он внимательно осмотрел каждого, и ребята невольно подтягивались под его пристальным взглядом. Вдруг Данилов тихо и как-то совсем буднично сказал:

— А я, товарищи, только что в Доме крестьянина был. Никто из вас не заходил туда? Зря, обязательно сходите — очень интересно... Крестьян — полно: в одном углу юриста обступили, в другом лекцию слушают. В общем, мужик всем интересоваться стал. Зашел я было в одну комнату... Сидит на топчане дед с этакой седой бородащей, в лаптях и онучах. Спрашиваю его: «Откуда? Зачем пожаловал?» А он мне отвечает знаете как? «Из-под Высокого я... с Усть-Кубины. Пришел пешочком, пенсию себе хлопотать. Потому, вижу, старость приходит, а с ней беспрекословно многие болезни, вредные для меня». — «Кто ж тебе, дед, пенсию хлопочет?» — «Да юркий, чернявый такой... Извиняюсь, не выговорить... консулом прозывается». — «Юрисконсулт, что ли?» — «Во, во! Этот самый. Прости ты меня грешного, опять забыл... На городские-то слова язык туго ворочается».

Поговорил я еще с дедом и пошел дальше. В другой комнате — второй дед. В сапогах, волосы под горшок острижены, усы и борода аккуратные. Видно, с хитринкой дед. Спрашиваю, откуда и зачем? Дед, оказывается, по железке с Вожеги приехал и сразу по двум делам. Во-первых, подсчитал, что на него налог неправильно наложили. Надо тринадцать рублей семьдесят копеек, а наложили пятнадцать рублей девяносто копеек. Вот он — середнячок! У него каждый рубль на счету. Он свое хозяйство рачительно ведет и думку думает, как бы в зажиточные выбратся. Во-вторых, дед к «дохтору» приехал, чего-то в поясице у него «как цепами молотят». Спрашиваю у него, как в деревне живут. Он мне так отвечает: «Живем не тужим, бар не хуже, они на охоту, мы на работу, они спать, а мы опять, они выспятся да за чай, а мы

цепами качай!» Я говорю ему: «Дедушка, бар-то ведь давно нет». — «Старые, — говорит, — баре провалились, новые вместо них народились!» — «Кто же эти новые баре?» — «Кто, кто — а рабочие, городские, вот кто!» — «Да какие же это баре, они не меньше тебя работают». — «По восемь-то часов! Рази это работа? А мы — от зари до зари...»

Чувствуете, товарищи, как кулацкое влияние сказывается? Это кулак хочет вбить клин между рабочим классом и середняком. А нам середняк — вот как нужен!

Данилов провел ребром ладони по горлу. Курбатов покосился на Галкина, сидевшего рядом. Тот слушал секретаря с какой-то недоверчиво-ехидной улыбкой. И Курбатов поморщился: «Не верит, что ли?» Наконец Галкин, не выдержав, спросил:

— А на кой бес он сдался, середняк? Я, между прочим, сам из деревни, мне в Дом крестьянина вроде бы и не к чему идти. Так вот, неясность у меня: зачем середняк-то нужен? То же кулачье, только добра поменьше, а жадности побольше...

Данилов круто повернулся к Галкину. Он смотрел на него долго, так что тот первый отвел глаза.

— Всем понятно или объяснить? — сдерживаясь, спросил Данилов и, не дожидаясь ответа, начал говорить, обращаясь к одному Галкину: — Ты, наверно, у середняка только достаток и видел. А того не заметил, что середняк — труженик. В нынешней деревне он — сила, большая сила, а она нам нужна. Без середняка туго придется. Если к кулаку он пойдет — нам труднее будет с кулаком разделаться. Вот и вся арифметика.

— От добра добра не ищут, — усмехнулся Галкин. Усмехнулся и Данилов:

— Вот ведь ты какой упорный! Обмозгуй на досуге. А поймешь — легче работать станет.

Галкин, пожав плечами, сел поудобней: его, казалось, заинтересовала эта беседа, на которой он собирался «всхрапнуть». А Данилов, расхаживая, говорил уже о другом:

— ...Вы знаете, что происходит в стране. И какие задачи перед партией и государством стоят — тоже знаете. Вот хотя бы наша губерния: крестьянская, большая... Хозяйство сложное. Но главная особен-

ность сейчас та, что в деревне идет жестокая классовая борьба. Мы опираемся на бедноту, боремся с кулаком, и это ведь борьба за влияние на середняка, который, как ввели нэп, еще больше колеблется. Мы с вами социализм ведь не только в городе должны строить! В городе строить легче. А вот бороться за социалистическое преобразование темной, неграмотной, убогой русской деревни куда сложнее. Поэтому нам и не безразлично, с кем пойдет середняк.

Потом Данилов говорил о новых кадрах, и Курбатов даже думать забыл о Галкине. Когда же секретарь губкома, простившись, ушел, Галкин зевнул, потягиваясь:

— Ну, начнем, благословясь? Жрать вот только охота. После занятий пойдешь на рынок? Я тебе одну штуку покажу.

Курбатов не слушал его. Все, что сказал Данилов, казалось интересным. То, что, очевидно, после школы придется ехать в деревню, было ясно. И Яков решил особенно внимательно приглядываться ко всему, что касалось крестьянства.

Профессор физики — Хвостов.

Профессор психологии — Гермин.

Профессор-историк по Западу — Мелли, буржуазный объективист...

В списке преподавателей встретились и две знакомые Курбатову фамилии. Диалектический материализм должен был читать один из бывших левых коммунистов, отстраненный от дел в Москве и переведенный сюда. Историю же партии преподавал приверженец того, кого Ленин в свое время требовал исключить из партии за штрейкбрехерство.

«Как же так? — недоумевал Курбатов. — Мало нам, что нужно следить за чужой профессурой, а тут еще и за этим посматривай. Не могли же они так перековаться!»

Гуляй-Зайцев, с которым Курбатов поделился своими мыслями, посоветовал:

— А вы надейтесь на свои силы, на свою сообразительность. Больше Ленина читайте. А эти преподаватели... Что ж, они у нас до времени. Прислали их к нам...

На следующий день первой по расписанию была лекция по физике. Ее должен был читать «чужой» профессор-идеалист Хвостов.

...В класс под руки ввели старого, хилого профессора. На голове его была черная, из блестящего шелка ермолка. Он сел за кафедру и скрипучим голосом начал лекцию. Сказав «господа», профессор испугался, обвел всех мутными глазами и долго переводил дух.

Это была не лекция по физике, а беседа, содержащая идеалистический вздор. В классе начался гомон — ребята нутром почувствовали неладное.

Лекция была сорвана, профессор просеменил к дверям и долго после этого не появлялся. Гуляй-Зайцев нервничал: «На кой черт вам понадобилось устраивать этакое! Ну, выпались бы, что ли, чем обструкцию разводить».

Но однажды с кафедры снова раздался скрипучий голос профессора. Слушатели насторожились. Однако на этот раз об идеалистических экскурсах в физику не было и помина. Второе выступление профессора закончилось тихо и чинно. На следующих лекциях по физике стояла мертвая тишина.

Зато Курбатову, да и не ему одному, не понравились лекции по истории партии. Каменский начал свое занятие с острот и шуток, видимо желая покорить аудиторию. Положив свой большой живот на кафедру, он заявил:

— Буржуазия говорит про русский рабочий класс: «Смотрите, хорош гегемон, а ходит без кальсон...»

После этих лекций у Курбатова оставалось чувство пустоты и неудовлетворенности, будто преподаватель сознательно что-то недосказывал, утаивал от слушателей.

Трещала с непривычки голова: в ней за короткий срок нужно было уложить такой обширный и разнообразный материал, что и подумать страшно! Уже через месяц ребята ходили бледные, с ввалившимися щеками, раздраженные. Гуляй-Зайцев подтрунивал над ними. Но когда в совпартшколе произошел печальный и смешной случай, Данилов распорядился устроить пятидневные каникулы. Дело было вот в чем.

Как раз в эти дни ребята знакомились с различными идеалистическими школами в философии и долго разбирались в хитрой поповской путанице. А ве-

чером один из слушателей, выйдя из общежития на улицу, лицом к лицу столкнулся с ломовиком, здоровенным детиной, который шел домой, сильно покачиваясь. Слушатель вдруг сказал резким голосом:

— Тебя в действительности нет. Ты существуешь только в моем воображении!

Пораженный такой наглостью, парень остановился как вкопанный.

— Это я-то не существую? — спросил обиженно-удивленным тоном. — Ах ты сопля!

Удар был такой, что слушатель, не устояв на ногах, полетел в лужу. Ломовик за шиворот, как щенка, поднял его.

— Ну как? Существую я или нет? Мог бы и крепче, да жалею тебя, костлявого...

Так был подтвержден второй тезис Маркса о Фейербахе.

Слушателя же показали невропатологу, и тот поставил диагноз: острое нервное переутомление.

Только сейчас, в дни каникул, придя в себя от занятий, Курбатов с удивлением увидел, какой неустроенной и трудной жизнью они жили. Галкин позвал его на базар. Курбатов зашел в соседнюю комнату за одним из ребят своей группы — Горобцом. Тот сидел на кровати, до пояса закутавшись в одеяло.

— Ты чего, Петро?

— Та дежурю, — ответил парень с густым украинским акцентом.

— Где дежуришь? По общежитию, что ли?

— Та ни. У себе у комнаты...

— А что ты здесь делаешь?

— Сижу, та и все, — ответил Горобец.

— Да зачем сидишь-то? — не понимал Курбатов.

— А що мени робить? Босый та без штанив, куда я пйду?

— То есть как без штанов?

— А так, без штанив. Бо не уси наши хлопцы мают ладни штаны и обутки. Ну, значит, мы и ходимо по очереди.

Лишних брюк ни у кого не оказалось. Пришлось идти на базар вдвоем с Галкиным, и Курбатов вскоре пожалел об этом.

На руках у Ивана были деревенские вязаные варежки. Проходя мимо женщины, торговавшей

монпансье, он хлопнул рукой поверх конфет и спросил:

— Сколько стоит?

Та ответила, подозрительно оглядев покупателя.

— Дорого дерешь! Пойдем дальше, может, там дешевле.

Отойдя, он протянул Курбатову варезку: «Посмотри». К варезке прилипло несколько леденцов...

С продавцами махорки Иван поступал иначе. Махорка продавалась рассыпная, в мешках. Меркой был граненый стакан. Галкин подходил и спрашивал: «Почем?» Ему отвечали. Он говорил: «Давай попробую». Свертывал из газетной бумаги сигарку толще пальца, прикуривал, затягивался и, скорчив гримасу, плевался: «Затхлая, не годится». Прodelывал он это много раз, находя махорку то мокрой, то некрепкой. Так у него скопилось курева дня на четыре.

Курбатов, которому поначалу все это показалось забавным, вдруг подумал: «А ведь нехорошо! Мелкое, но все же мошенничество...»

Галкин, когда он ему это сказал, широко раскрыл глаза.

— Что ты, Яшка? Чего ж тут такого? Это ведь не государство, не кооперация, а спекулянты! Я, может, этой своей сигаркой частника подрываю?!

— Не так его подрывают... Сюда я больше не ходок.

Галкин вспылил:

— Ишь ты, ортодокс какой! Да я не меньше тебя понимаю, ты меня не учи. Черта с два тебе теперь покурить оставлю или ландрина дам...

Курбатов повернулся и пошел домой один.

Вечером, играя с ребятами в шашки, он прислушивался к тому, как Гуляй-Зайцев разговаривает с курсантами. Донесли слова Галкина:

— ...У меня дед и батька коровам хвосты крутили. И я умею — лучше не надо.

— Значит, сельский пролетарий?

— Так точно. Еще больше чем пролетарий. До четырнадцати лет штаны не носил: не было. В одной длинной рубаше коров гонял. Ну, а когда девки надо мной смеяться стали, так батя свои штаны отдал... Только чего на них больше было — дыр или заплат — не помню...

Кругом смеялись, а Курбатов сделал вид, что думает над очередным ходом. Что-то отталкивающее было в Галкине. «Может, и не надо так строго судить? Пройдет время — поумнеет... Так-то говоря, что он до сих пор видел?» И все же ощущение чего-то неприятного не проходило.

От этих мыслей его отвлек Гуляй-Зайцев. Кто-то из ребят полюбопытствовал у директора, откуда у него такая странная фамилия.

— А-а, вот и вы спросили! Мне на фронте покоя не давали: почему, да отчего, да что не переменишь... А чего менять — к своей фамилии, как к тени, при-выкаешь...

Директор начал рассказывать, и Курбатов, забыв про Галкина, улыбался вместе со всеми.

— Как будто это с моим дедушкой случилось. Был он учителем в уездном городе Кадникове, и фамилия у него была самая простая — Иванов. Силен, говорят, был он в амурных делах: льнули к нему женщины, как мухи к меду. Но гулять-то ему, женатому, приходилось тайком. А вы представляете, что значит уездный город? Там ничего не утаишь, там знают, что у тебя в горшке на обед варится. Ну, видели люди, как дед по ночам пробирался домой, и говорили: «Погулял, погулял, да и домой потихоньку...» Так и пошло: «Гуляет, как заяц».

Приехал однажды новый уездный исправник с молодой женой. Дед, говорят, и тут успел. Скоро исправник дознался об этом, а обыватели ему и про кличку рассказали. Ясно, исправник рассвирепел и велел деду подобру-поздорову убираться из города. Делать нечего, с исправником спорить не будешь. Пошел дед паспорт себе выправлять. Выписали ему паспорт и подают. А там вместо фамилии Иванов записано: «Гуляй-Заяц». Дед не берет документ, говорит: «Моя же фамилия — Иванов». — «Никак нет-с, Гуляй-Заяц, Так исправник изволили приказать». Понял все дед и махнул рукой. В губернском городе долго не мог на работу устроиться — из-за фамилии не принимали. А я уже на фронте, в гражданскую войну, приделал себе окончание «ев», чтобы ребята особенно не смеялись. Только никак это «ев» ко мне не пристаёт.

Он взглянул на свои массивные серебряные часы и заторопился:

— Спать, спать, товарищи... Во сне мозги проветриваются. Секретарь губкома распорядился, чтобы в каникулы больше спали.

#### 4

Наконец жизнь в совпартшколе вошла в колею. И как-то вдруг оказалось, что учиться не так-то уж трудно. Снова вернулась прежняя бодрость, чаще слышался смех, даже стали поговаривать, что Галкин влюбился в какую-то нэпманку. В самом деле, вечерами Иван куда-то исчезал и возвращался тайком, поздней ночью, сопровождаемый ворчанием тети Ньюши:

— Ах ты... Шляешься все, вельзевул? Ну, ступай, спи, дело ваше молодое.

Наутро Галкин еле поднимался, глаза у него были сухие и красные. Когда ребята начинали подтрунивать над ним, он смущенно разводил руками: что ж поделаешь, такая уж природа!

Потом стал пропадать курсант Митя Чубуков. Вместе с ним уходил Мухаметдинов, киргиз по национальности. Возвращались они одновременно, и однажды Курбатов, не выдержав, спросил:

— Да вы что, за одной и той же ухаживаете?

— Зачем ухаживаем? — ответил Мухаметдинов. — Мы учиться ходим. Каменский учит — мы слушаем. Приду домой — ай-ай-ай, какой умный приду! Как аксакал.

Курбатов насторожился, заметив, как Галкин пихнул Мухаметдинова в бок — помолчи, не болтай лишку.

А Иван, поняв, что тайна раскрыта, деланно рассмеялся:

— Ну да, аксакал! По складам читать научиться бы нам с тобой — и то хлеб.

— Чему же вас учит Каменский? — поинтересовался Курбатов, стараясь казаться равнодушным.

— Да всему... Достоевского он очень любит — читаем вслух.

Однако после этого исчезновения ребят прекратились, а Каменский разговаривал с Курбатовым подчеркнуто любезно. «Рассказать Гуляй-Зайцеву? — ду-

мал Яков. — А зачем? Что здесь плохого? Только почему все это шло втайне от других?» Он молчал. Молчал до тех пор, пока к нему не подошел Мухаметдинов.

— Слушай, Курбат, объясни... Совсем башка пустой стал... Объясни, пожалуйста, почему это мы социализм у нас не построим? А если я хочу строить, тогда что?

— Да кто тебе сказал, что не построим?

— Галка говорит. Он умный мужик. А ему Каменский сказал. А я не понимаю. Зачем не построим? Зачем тогда революцию делал?

Вечером, подсев к Галкину, Курбатов спросил его в упор:

— Что это ты болтаешь, парень? Почему мы социализм не построим?

Галкин пожал плечами:

— Ведь это только гипотеза! Есть много рго и contra, то есть — за и против.

— Контра? — усмехнулся Курбатов. — Ах ты, кулацкая душа! Да что ты знаешь, теоретик сопливый!

Курбатов поднялся. Вскочил и Мухаметдинов. Они вместе вышли из общежития.

— Дурак он, Галка... Ой, дурак!.. — быстрой скороговоркой повторял Мухаметдинов. — Я приеду — всем расскажу... Нельзя такой дурак учить, бить надо такой дурак.

Курбатов шел, глубоко засунув руки в карманы куртки. У него было такое ощущение, будто он притронулся к чему-то скользкому, холодному. «Член партии... — мучительно думал он. — Как же так, как же? Хотя... Трохов ведь тоже был... Потомственный пастух... Откуда такая душа?»

Когда он вошел к Гуляй-Зайцеву, тот быстро спрятал в стол какую-то бумажку.

— Простите... — сказал Курбатов.

— А-а, это ты. Садись.

Он потер ладонями глаза, вынув из стола бумагу, положил перед собой:

— Тут из губкома пришло письмо... Данилов требует, чтобы мы сообщили официально, как преподает Каменский. На, прочитай...

Курбатов прочел скупые строки запроса и, глядя директору в глаза, ответил:

— Я бы Каменского к нам даже уборщицей не взял. Если надо, я сам пойду к Данилову. Дело вот в чем...

Каменского в совпартшколе больше не видели. Произошло это как-то тихо и незаметно, а вместо него лекции по истории партии начал читать Гуляй-Зайцев. Ребята вздохнули: пусть директор читал без особого блеска, но зато все было ясно, просто, без выкрутасов.

Курбатов каждый день открывал для себя что-то новое, еще неизвестное, вчитываясь в строки работ Ленина. Все полнее постигал глубину ленинской мысли.

Однажды вместе с Гуляй-Зайцевым в класс снова вошел Данилов, и директор сел на скамейку рядом с Курбатовым. Данилов, как и тогда, оглядел ребят, улыбнулся.

— Ну как? Выросли, поумнели? Суть постигли или глубже копнули? А я вот, грешен, уже забывать кое-что стал, снова садиться за книги надо. Ведь мы всю эту науку в тюрьмах проходили.

Поглядев в окно, он сказал:

— Словом, прощаться нам пора, товарищи. Губком решил ускорить выпуск: людей нет.— И повторил, словно бы в раздумье: — Да, нет людей-то...

Сначала никто не понял, что сказал Данилов. А потом все заговорили разом, перебивая друг друга, и Данилов, стоя у окна, наблюдал за аудиторией. Такого оживления не было давно. Секретарь чутьем угадал: сейчас они рады, выше головы рады тому, что наконец-то начнется работа, по которой все стосковались. «Рановато, — подумал с грустью. — Хлебнут еще шилом патоки».

На Данилова снова уставились десятки выжидающих глаз, он шевельнул густыми колючими бровями:

— Вот о чем нам надо сегодня поговорить, товарищи... О том, что нынче происходит. О жизни... О той, которая не в пивных да на базарах, — он кинул короткий и чуть насмешливый взгляд на Галкина, — а о настоящей.

С молодежью придется вам больше возиться. Отсталая ее часть все еще не может понять новой эконо-

номической политики. Есть случаи, что даже рабочие выходят из комсомола. Некоторые направляют свою энергию на разврат и хулиганство. Этому, конечно, и некоторые писатели способствуют — Пантелеймон Романов, Малашкин, скажем. Все это нужно учесть тем, кто пойдет на комсомольскую работу. Мне кажется, что у нас в комсомоле насчет методов работы не все благополучно. Нет разнообразия форм. Молодежь не в пивные должна идти, не в рестораны, не на вечеринки, а в наши клубы, в которых пока от скуки мухи и тедохнут...

Как видите, задачи у нас большие. Не успокаивайтесь, не остывайте, не старейте душой. Будьте всегда целеустремленными, не позволяйте, чтобы вас захлестнула текучка... Но не относитесь высокомерно к «черной работе» и к «мелочам». Из мелочей и крупные дела вырастают. Вникайте во все сами, серьезно анализируйте факты. К сожалению, у нас есть немало таких руководителей, которые не вникают, не анализируют происходящие внутренние процессы, пока обстоятельства не ткнут их носом. Такие могут лишь загубить дело. Нередко и мы допускаем ошибки в подборе людей: «Авось вытянет, вроде парень неплохой...»

Он замолчал, словно вспоминая, что еще хотел сказать. Но, видимо так и не вспомнив, кивнул головой:

— Вот вроде бы и все...

Этого дня все ждали с таким нетерпением, а прощаться было грустно. Мухаметдинов, добрых полчаса тиская Курбатова своими смуглыми, сильными руками, быстро говорил что-то по-своему, и Яков вырывался, шутливо ругаясь: «Да уйди ты, шайтан!» Потом, отдышавшись, спросил:

— Куда ты сейчас? Где своих найдешь?

— Приблизительно искать будем.

Оказывается, ему, чтобы найти свое кочевье, надо отмахать сотни верст.

Галкин прощался с ребятами сдержанно, с достоинством: грехи его не вспоминали и назначили в экономический отдел губкома комсомола. Курбатова назначили секретарем райкома в Няндому.

Узнав о назначении, Яков разволновался. Первой мыслью было: просить чего-нибудь полегче. «Справлюсь ли? А если нет? Как это говорил Данилов — авось вытянет, вроде парень неплохой...»

Гуляй-Зайцев, угадав состояние Курбатова, спросил:

— Что, страшновато?

— Страшновато.

— А знаешь, — задумчиво сказал директор. — Мне в восемнадцатом году полк дали... Целый полк! Чувешь, как мне страшно было? За сотни жизней в огвете...

И закончил, словно сам удивляясь:

— И ведь ничего — справился!

## 5

Как странно порой складывается жизнь...

Три года назад, глядя из окошка поезда на темный перрон, на далекие огоньки, на унылое, грязное здание нядомского вокзала, Курбатов не мог даже предположить, что ему придется работать здесь. И сейчас, сойдя на ту платформу, он увидел знакомое уже здание станции и те же мерцающие огоньки вдалеке. Поезд прогудел, оставив за собой теплый запах влажного кокса.

Курбатова никто не встречал, и он был даже рад этому. С лубяной корзинкой в руке он пошел по улице, еще не зная, где райком. В губкомоле ему объяснили, как пройти, но он волновался, думая о другом, и не расслышал половины этих объяснений. Спросить было не у кого: улица лежала перед ним тихая, безлюдная, будто вымершая, и только кое-где, далеко-далеко, на разные лады переговаривались собаки. Ночь была лунной, и густые черные тени заборов, деревьев, домов отпечатались на серебряной, припорошенной первым снегом земле.

В губкомоле ему сказали: «Едешь на голое место. Есть несколько сот комсомольцев, но никто ничего не делает и не знает, как и что делать».

Из-за поворота, покачиваясь, вышли двое. Они что-то бормотали, поддерживая друг друга. Курбатов

не любил пьяных — эта нелюбовь осталась у него с детства, когда он из угла смотрел испуганными глазами на бушующего дядю. Но ведь надо было кого-то спросить, где райком, и он спросил одного из гуляк, как ему показалось, менее пьяного.

Тот недоуменно поглядел на Курбатова:

— А на что тебе?

— Так, по делу надо.

— Может, ты сюда работать приехал?

— Да.

— А-а, ну тогда валяй, работай. Только зря хлеб жрете, вот что я тебе скажу...

— Почему?

— А потому! — Пьяный неожиданно зарыдал, рванув свободной рукой ворот свитера. — Кровь мы за что проливали, а? Опять пошли брюханы с цепочками через все пузо? Частных лавочек кто наоткрывал, а? Эх!

Он выкрикнул это тоскливо и, выругавшись, снова пошел, шатаясь, с обвисшим на плече молчаливым приятелем, так и не показав, где райком. Курбатов подумал: «Может быть, комсомолец? Как это он сказал: брюханы с цепочками... за что кровь проливали? Не понимают новой политики, злобятся, пьют... Да, действительно, на голое место приехал...»

Через час он разыскал райком. В окнах серого бревенчатого здания не было света, и Курбатов, поднявшись на скрипучие ступеньки, долго чиркал спичками, чтобы найти хоть какой-нибудь звонок. На стук никто не отвечал. Он уже отчаялся, когда за дверью раздались шаги.

— Кто там?

— Откройте, пожалуйста!

— Кто это?

— Курбатов, новый секретарь райкома.

Зазвенели многочисленные задвижки и цепочки. Наконец дверь распахнулась, и Курбатов, шагнув в сени, увидел зябко поеживающегося паренька в накинутом на плечи полушубке. Тот держал в руках «летучую мышь». В сенях пахло керосином и кислой овчиной.

— Мандат есть? — спросил парень.

— Есть. Может быть, сначала в комнату проводите?

— Идите, — зевая, ответил тот. У него получилось: «ы-ыте!»

Курбатов вошел в большую, нетопленную комнату, заставленную столами и шкафами. При неверном свете фонаря он разглядел поблескивающую по углам изморозь, выцветший плакат во всю стену: «Ударим по старому быту!» — и, наконец, заспанное лицо открывшего ему паренька.

— Ты что — живешь здесь?

— Нет, дежурю. Так вы давайте мандат... на всякий случай.

Курбатов, улыбнувшись, достал документы. Хорош дежурный! Все кулаки отбил, прежде чем достучался. Такого можно вынести со всеми потрохами — и не разбудить.

Парень внимательно просмотрел документы и, возвращая их, отрекомендовался:

— А я Уткин Иван, член бюро райкома.

— Вот как! — обрадовался Курбатов. — А работаешь где?

— В депо. Да вы садитесь, располагайтесь. Я сейчас дров принесу.

Через полчаса они сидели возле печки, смотрели, как в черные трубочки сворачивается береста, как шипит на поленьях вода, и Курбатов слушал негромкие, тоскливые слова Уткина:

— Деваться некуда. Вот только в компании, в буфете и находят себя ребята. В комсомоле у нас скучно. Одна политграмота. На нее по обязанности ходят. Но скоро пошлют к черту. Мы уже квалифицированные рабочие, некоторые помощниками машинистов ездят. Скука, она как червяк сосет.

— Чем же все-таки молодежь занимается? — спросил Курбатов.

— Многие устраивают семейные вечерушки с выпивкой. Что там иногда бывает — рассказывать тошно. Недавно одна комсомолка повесилась после этого. У нас нынче только треплются, а дела не видно. Скажи, разве хорошо, что комсомол не помог той девушке, морально не поддержал ее? А об этом и секретарь райкома знал. Ну, что нелады с девчонкой...

— Конечно, плохо, очень плохо! — искренне ответил Курбатов.

— Видишь, и ты говоришь: плохо. Так зачем такой

комсомол нужен? И так-то в глуши живем. Молодежь потому и гулять ходит на станцию, что там хоть новые лица в поезде видит. Ничего у нас нет. Клуба нет. Учпрофсоюз давно обещает пригласить инструктора спорта, да одними обещаниями и кормит. Все треплются. От этого ребята никому не верят, особенно таким приедем, как ты. Некоторые уже из комсомола выходят. Да по совести и мне неинтересно стало... Гоняюсь за всеми, чтобы членские взносы платили. Разве это дело?

Курбатов смотрел на огоньки, перебегающие по польням...

— Все это ты верно говоришь, Ваня. Нужно начать работать. Нужно все перевернуть.

Уткин глянул на Курбатова с нескрываемой насмешкой. А потом резко сказал:

— Брось трепаться-то, товарищ секретарь! И до тебя так говорили. Все вы, активисты, трепачи. Только циркуляры писать можете: «Усилить, оживить, улучшить, принять меры...» Знаю я, мне управдел райкома жаловался, что за три месяца из губкома штук сто циркуляров пришло.

— Это ты тоже правильно говоришь. Только учти, что циркуляры и хорошие есть, и их выполнять надо.

Курбатов посмотрел на кислую физиономию Вани и неожиданно расхохотался:

— Ой, член бюро! Так-то ты мне помогать думаешь? Ну, вот что: когда я буду делать не то, ты мне честно об этом скажешь. По рукам? Мне, брат, твоя помощь вот как нужна...

— Что я-то один смогу? — так же кисло ответил Уткин. — Хочешь, завтра после работы я к тебе ребят в райком приведу? Поговори с ними. Только не загибай — попроще, попрямей. Много им не обещай. А то наговоришь, а кишка у тебя тонка окажется — противно будет.

Курбатов, соглашаясь, кивнул.

Хотя всю прошлую ночь в поезде он не спал, ему не спалось и сейчас. Вместе с Уткиным он сдвинул два стола, постелил тулуп, накрыл его своей простыней и лег, стараясь как можно аккуратнее подвернуть под себя со всех сторон шинель. Уткин спокойно посапы-

вал на своем столе, а Курбатов глядел на раскаленную до вишневого цвета дверцу печки и думал. Глаза ему словно натерли песком — больно было закрыть.

«Так дальше нельзя. Ребята выходят из комсомола... Нужно искать новые формы комсомольской работы... Внести в них политическое содержание... Воспитывать на практических делах... Но с чего начать?..»

На другой день Уткин привел в райком ребят и познакомил с ними Курбатова. Были тут Алеша Попов, Кузя Лешев, Шура Маркелов, Тося Шустрова и Ваня Иванов — Карпыч, как звали его ребята. Все не торопясь поздоровались, расселись по скамейкам.

— Начнем? — спросил Курбатов.

— Что, опять под протокол? — с усмешкой протянул Карпыч. — Тогда мы и говорить ничего не будем. Нам сказали, что ты с нами познакомиться хочешь, а выходит — сразу на совещание нарвались. Уж лучше мы по домам пойдем!

Курбатов, рассмеявшись, тряхнул головой.

— Никакого совещания у нас не будет и протокола тоже. Но ведь знакомиться — это не значит смотреть друг на друга и молчать?

— А ты не загинай, — снова буркнул Карпыч. — Этим нас не купишь. Говори прямо: зачем мы тебе понадобились?

Теперь Курбатов ответил резко:

— А ты не бузи. И за всех не говори. Другие, может, не по-твоему думают. Тебе неинтересно — мы тебя не держим.

— Давай выкладывай, что там у тебя, — уже примирительно сказал Карпыч, отворачиваясь от взгляда Курбатова.

С чего же ему начинать?.. Да, его предупреждали, что будет трудно. Но что это: недоверие к новому секретарю или больше — неверие в то, что комсомол может быть живой, деятельной, боевой организацией? Он не винил людей, сидящих перед ним. Но какой равнодушный человек был тут раньше!

Курбатов расстегнул ворот гимнастерки — дышать сразу стало легче. Он и не заметил, как Карпыч подошел к нему и тряхнул несколько раз за плечо:

— Эй, секретарь, что с тобой? Может, воды дать, а? Ребята, да что с ним...

— Ничего. Это у меня после ранения... Сейчас пройдет.

Яков провел рукой по коротко подстриженным волосам и, зябко передернув плечами, начал говорить:

— Так вот, собственно, что у меня... Спортивный кружок надо организовать в Няндоме — раз!

Ему не дали договорить, что же будет «два»: все загалдели, замахали руками, пытаюсь перекричать один другого. Курбатов ничего не мог разобрать и напрасно пытался утихомирить ребят.

— Какой там, к лешему, спорт, когда инструктора нет!

— А костюмы, а снаряды?

— Деньги нужны. Где их взять?

— Помещение...

Обо всем этом Курбатов уже думал бессонной ночью. Поэтому сейчас у него был готовый ответ:

— Инструктором буду я сам — кой-что смыслю в этом деле. («Ого! Ай да секретарь!») Костюмы — вещь нехитрая: у ребят — трусы, у девчат — шаровары. Как-нибудь раздобудут сами. («Это верно!») Деньги? Устроим платный вечер — вот вам и деньги. Да еще и Учпрофсоюз обещал дать немного. Помещения пока не надо, будем заниматься в райкоме, в соседней комнате.

— Вот это уже дело! — не удержался Алеша Попов. — Тебе бы с этого и начинать, секретарь. Попробуем, может, что и получится? Только бы вот руководить не подкачал...

Было уже поздно, ребята устали, и Курбатов отпустил их.

И в том, как они прощались, крепко встряхивая его руку, он почувствовал, что первая искорка заронена, что все, пусть немного, но ожили. И это хорошо, очень хорошо!

Карпыч уходил последним. У дверей он замешкался:

— Ты... вот что...

— Что?

— Я говорю, не дело тебе... здесь жить. Холодно и вообще... непорядок. У нас дежурные комнаты для машинистов есть, ровно гостиница. Мы потолкуем с начальником тяги.

— Спасибо.

— Ну, а обедать там и прочее — семью подыскать надо, пусть берут тебя «на хлеба»...

Он хотел еще что-то сказать, но, так и не сказав, ушел, на ходу нахлобучивая когда-то пушистую, а теперь драную меховую шапку. Курбатов глядел на его блестящий от мазута ватник, треугольнички кожаных «пяток», подшитые к валенкам, и внезапное радостное тепло облило его. Ему захотелось сказать этому крикливому, задиристому пареньку, как он, Яшка Курбатов, счастлив, что его прислали сюда, на это «голое место», которое вовсе не такое уж и голое...

Дня через три во всех ячейках состоялись открытые комсомольские собрания. Вместе с секретарем райкома партии Лукьяновым Курбатов пришел на комсомольское собрание в депо, сидел в президиуме и слушал, как, заикаясь и спотыкаясь на каждом слове, Карпыч докладывает о спортивном кружке. Лукьянов тоже слушал; вдруг он толкнул Курбатова в бок и, хитро подмигнув, прошептал:

— Кажется, пошлó, а?

— Кажется, — тоже шепотом ответил Курбатов.

— Только докладчик-то у тебя... Всю игру испортит. Давай-ка сам.

Курбатов выступил сразу после Карпыча. Собственно, он повторил все то же, что говорил тот, только более дельно и связно. Его слушали внимательно, сидели тихо, и Курбатов даже вздрогнул, когда из задних рядов донесся звонкий голос:

— Я же говорил — свой в доску!

Все зашикали, а потом Курбатов увидел, что ребята выпихивают кого-то к столу президиума, но тот упирается.

— Вы что, говорить хотите? — спросил Курбатов, мучительно вспоминая, где он видел этот насмешливый рот и вздернутый нос с широкими ноздрями.

— Хочет! — кричали из задних рядов. — У него идея есть!

Но парень так и не выступил.

После собрания он подошел к Курбатову, хлопнул секретаря по плечу и сказал:

— Здорово, братишка! Не узнал военмора Ивана Рябова с крейсера «Чесма»? А мы с тобой на этой

станции и познакомились. Помнишь, спекулянтку-мешочницу с поезда за борт высадили? Я уже два года как демобилизовался.

Курбатов обрадовался:

— Так ты что — теперь здесь?

— Да, здесь якорь бросил. Женился, ребята уже пошли. Я, брат, теперь к этому месту просмоленным концом пришвартован. Работаю смазчиком. А по вечерам все больше с молодежью возжусь: еще не перебесился и к покою меня не тянет. Уж за это жена меня пилит, но ничего... — Он оглянулся и быстро зашептал: — Давно у меня, секретарь, одна морская идейка есть. Здесь кругом воды много — можно бы нашу братву морскому делу обучать. Ведь, может, и пойдет кто-нибудь из них на флот, так надо, чтоб он не сопливым салажонком был. Я здесь и мастера нашел — берется шлюпки сделать. За одним дело — денег нет. Каждая — восемьдесят рубликов. На нашу братву штук пять надо, а это, почитай, полтысячи рублей.

— Мы твоё предложение на бюро райкома обсудим, — сказал Курбатов, — ты и доклад сделаешь.

— Нет уж! — испугался Рябов. — Какой я докладчик! Я лучше дома палубу буду дранить и в камбузе управляться, чем доклад делать. Не могу я и не умею. Тебе все расскажу, а ты как знаешь...

Курбатов словно не расслышал этих слов. Все в нем ликовало. Дела складывались как нельзя лучше, и, главное, инициатива исходила не от него, а от ребят. Было бы действительно здорово спустить весной на озеро шлюпки! И Рябов показался ему — как несколько дней назад Карпыч — самым родным на земле человеком.

Потом они шли по улице, и Иван со смехом вспоминал, как высаживал из поезда спекулянтку.

— А ты знаешь, браток, я ведь еще раз эту мешочницу повстречал, — вдруг удивил он Курбатова. — В поселке на базаре. Она меня, стерва, сразу узнала. Смотрела, смотрела, да как заорет на весь базар, мазоль ей на нос: «Держите его, держите его!» Ну, тут милиция, ясное дело. Привели в отделение. Старшой спрашивает: «За что взяли?» Милицейский отвечает: у женщины, мол, спросите. «Рассказывайте, мамаша», — говорит старшой. Та и рассказала, как я ее из поезда высадил. Старшой слушает и ничего не пони-

мает. Тогда я говорю ему: «Дозвольте туман рассеять и ясность внести». И все рассказал, как было. Старшой и говорит: «Ничего я не могу теперь с ним поделать, гражданочка. Срок давности вашей жалобы прошел, да и свидетелей у вас нет». Обругала эта баба меня снова, но и я в долгу не остался.

Он помолчал, улыбаясь, а потом вновь заговорил о том, что, очевидно, засело у него в голове.

— На бюро-то я приду, а уж доклад о шлюпках ты сам сделай. Ладно? Спортом я тоже заниматься буду и своего штурмана захвачу. Это я жену штурманом зову, потому как она курс моей жизни теперь прокладывает.

Рябову надо было домой, и они простились. Шагая к райкому, Яков слушал, как хрустит под ногами снег, и внезапно вспомнил слова Лукьянова: «Кажется, пошлó!»

## 6

В конце месяца неожиданно ударили сильные морозы. Ветер гнал по земле сухую поземку, оглушительно трещали деревья, и люди старались пересидеть это время в теплых домах.

Конечно, нечего было и думать о каком-либо спорте.

В райкоме тоже было холодно, хотя печки каждый день топились до белого каления: ветхие стены не держали тепло. Курбатов, все еще живший тут, боялся по утрам вылезать из-под тулупа. Однажды протянул руку к стакану и нащупал осколки: вода, замерзнув, разорвала его.

Но надо было вставать, одеваться, мыться, идти на улицу. Он и не предполагал, что сразу же начнется «текучка» — множество мелких, но всегда неотложных дел. В райком уже приносили заявления и жалобы. Штата не было, и приходилось во всем разбираться самому: члены бюро после работы просто с ног валились от усталости. Лукьянов, внимательно присматривавшийся к Курбатову, как-то вызвал его к себе в кабинет и, растирая красные от холода руки, спросил:

— У тебя сколько жил?

Курбатов молчал.

— Почему ты все хочешь делать сам? А где актив? На одном спорте и даже шлюпках далеко не уедешь. А деревней кто будет заниматься? Думаешь, тебя там не ждут? Еще как ждут! Подумай-ка на досуге.

Но «досуга» у Курбатова как раз и не было.

...Его разбудили этой же ночью. Он не сразу слышал стук, а когда вылез из-под тулупа и зажег свет, увидел, что дверь ходуном ходит от ударов.

— Кто там?

— Да ты замерз, что ли? Скорее одевайся, беда!

Он не почувствовал, как его обожгло морозом, когда вместе с Алешей Поповым выскочил из райкома. Попов бежал сзади, задыхаясь, и сбивчиво объяснял, что произошло. Станция и поселок снабжались водой от водокачки, которая подавала ее из озера. От водокачки до озера на десять километров тянулись уложенные в траншею трубы. Снега сейчас было мало, земля не грела, и километрах в восьми отсюда трубы лопнули. «Как стакан», — подумал Курбатов. Станция осталась без воды, нельзя менять паровозы, скорый из Москвы стоит уже два часа.

Лукьянов был на станции, когда Яков, запыхавшийся, красный, ворвался к начальнику тяги. Тот сидел, обхватив голову руками, глубоко запустив пальцы в спутавшиеся волосы. И столько немого отчаяния было в этой неподвижной фигуре, что Курбатов сначала опешил.

— Что случилось?

Начальник тяги поднял на него глаза.

— Что случилось? Да только то, что через сутки все здесь полетит к чертям! Что я, святой? Куда я буду ставить составы? Где я возьму воду?

— Да замолчите вы... — оборвал его Лукьянов.

Крупное, темное, в глубоких и резких складках лицо секретаря было напряженным. Он морщился, будто от боли, и глядел куда-то в сторону.

— Несколько дней перебьемся, — наконец сказал глухо. — Будем возить воду для паровозов из пруда.

— А потом? — закричал начальник тяги. — А потом что?

Лукьянов подошел к нему.

— А потом... Потом я отдам вас под суд за панику. Вы поняли меня?

Взяв Курбатова под руку, он кивнул на дверь:

«Пошли». Уже на улице, поглядывая на небо, густо усеянное звездами, Лукьянов проговорил в раздумье:

— В самом деле, что же потом? Трубы придется менять — это факт. Сумеешь комсомол на такое дело поднять?

— Надо... — неуверенно ответил Курбатов.

Алеша Попов ждал его в депо: приплясывая, он грелся возле большого кузнечного горна. Курбатов велел ему бежать и будить комсомольцев.

— Пусть сразу идут в школу. Обсудим сообща положение и решим, что делать.

...Когда он пришел в школу, там уже было человек двадцать — двадцать пять. Яков поздоровался. Ему ответил нестройный хор.

Курбатов стянул рукавицы и поднес пальцы к губам. Сразу же почувствовал острую, колющую боль. «Неужели успел обморозить?» Непослушные, задеревеневшие суставы сгибались с трудом.

— Ты потри их, — посоветовал кто-то из темного угла.

Постепенно собралось человек полтора. Курбатов, сидевший на низенькой, неудобной парте рядом с деповскими комсомольцами, с удивлением увидел, что в классе полным-полно. Разговаривали тихо, вполголоса. А многие пристраивались поудобнее, чтобы доглядеть оборванные сны.

Можно было и начинать. Сердце у Курбатова радостно билось: «Пришли, пришли... В мороз, сонные, а пришли! Какое же это «голое место?»»

Попов ткнул Курбатова в бок: «Ну чего же ты?» Яков с трудом выбрался из-за парты и поднялся на скамейку, чтобы его отовсюду было видно.

Ребята уже всё знали, и Курбатов ничего не мог добавить к тому, что было известно. Но когда он сказал, что райком партии и райком комсомола решили послать комсомольцев на ремонт трубопровода, раздался голоса:

— Пойдем, конечно...

— Да чего там митинговать!

— Домой только забежать надо...

— Водка своя или казенная?

Курбатов поднял руку, и снова в классе стало тихо, только кто-то кашлял, закрывая варежкой рот.

— Будет трудно, — сказал секретарь. — Морозец —

сами знаете... Надо вскрыть полтора километра траншей, а земля промерзшая. Жилья кругом нет... Так что одеваться потеплее. У кого есть ломы, кирки — брать с собой. Соберемся через час возле депо. Все ясно или будут прения?

— Чего там преть... — буркнул Карпыч. — Кончай агитацию!

— Тогда надо выбирать штаб по руководству работами. Есть предложение — пять человек. Кто «за» — голосую.

Ребята поднимали руки и выкрикивали фамилии:

— Уткина!

— Попова Лешку!

— Карпыча!

— Курбатова!

— Семенову...

— Как будем голосовать — списком или персонально?

— Да чего кота за хвост тянешь, — раздался сердитый голос. — Голосуй списком!

Когда класс опустел и Курбатов остался вдвоем с Карпычем, он почувствовал, что ему немного страшно: страшно идти на этот лютый мороз, в лес, за восемь километров, страшно потому, что неизвестно, чем все это кончится.

Он подавил в себе этот страх: «Какого дьявола!.. Раскисаешь, как барышня. Когда завод горел — ничего, не струсил, а теперь...» Яков поднялся, глубже запахивая отвороты кисло пахнущего овчинного полушубка. Карпыч тоже встал.

— Как ты думаешь — все придут? — спросил Курбатов.

— Все, конечно. А впрочем, кто его знает, — пожал он плечами. — Может, найдется подлая душа...

Курбатов долго смотрел на некрасивое, безбровое лицо Карпыча и, неожиданно улыбнувшись, крепко шлепнул его по черному, перемазанному мазутом рукаву ватника:

— А найдется — тоже не страшно!

Подлая душа все-таки нашлась.

Когда построились на площади перед депо (собственно, строя никакого и не было: все приплясывали

и толкали друг друга, чтобы согреться), Курбатов, вскарабкавшись на сани, крикнул:

— Если кто думает не работать или хныкать — выходи. Нам таких не надо.

Никто не вышел. Все по-прежнему приплясывали. Кто-то в задних рядах затеял возню — грелись. Казалось, ребята и не расслышали того, что кричал Яков. Алеша Попов тронул его сзади: «Да что ты все речи произносишь — пошли!» В это-то время и отделилась от строя закутанная в женский платок фигура. Попов шепнул Якову:

— Счетовод из потребиловки... Васька-интеллигент. Ясное дело...

Раздались смех, улюлюканье. Васька, словно подгоняемый ими, побежал к саням. Курбатов увидел удивительно красивые, какие-то не мужские глаза и услышал заикающийся, идущий из-под платка голос:

— Я н-не м-могу... У м-меня м-мать заб-болела... Н-не м-могу...

— Чего он там брешет, не слышно?

Внезапно Попов подскочил к Ваське и толкнул его так, что он, качнувшись, осел на сани. Курбатов схватил Попова за руку:

— Ты что? Не смей!

Но Алеша вырвался. В жгучем морозном воздухе зазвенел его голос:

— Врет он, ребята! Он вчера до ночи на вечерухе гулял. Выходит, мать не болела?

— Она утром заболела! — крикнул как можно громче Васька.

— Врешь! Сегодня она к нам приходила керосину одалживать!

Все толпились вокруг саней, и покрытая инеем лошадь беспокойно вскидывала морду. Кто-то крикнул:

— Гнать его из комсомола!

Очевидно, это предложение было наболевшим, — Ваську в Няндоме не любили.

Курбатов сказал:

— Пусть уходит. Выгоним на бюро райкома.

— Нет, сейчас! — требовал белый от волнения Попов. Он уже стоял на санях. — Слышишь, сейчас! Голосуй, или я сам...

— Голосуй!

Руки уже были подняты.

На пятом километре отряд растянулся по лесу в длинную цепочку, и Курбатов с тревогой оглядывался назад: не отстает ли кто-нибудь... Первые по его сигналу останавливались, последние подтягивались.

Над лесом стояла круглая яркая луна. Временами из мрака выступали засыпанные снегом, похожие на лисьи хвосты еловые ветви да высветленные луной и от этого сверкающие стволы сосен.

Курбатов шел одним из первых. Он не чувствовал усталости, но порой словно проваливался в какое-то забытие: исчезал лес, переставал ощущаться мороз, неожиданно становилось тепло. Убыстрив шаг, Яков нагнал какую-то девушку, которая с усилием переставляла ноги в огромных, видно чужих, валенках. Курбатов взял девушку под руку:

— Что, трудно? Трудно, я говорю, идти?

При неверном свете луны он увидел узенькую щелочку в платке, а в ней — глаза, показавшиеся ему такими печальными и усталыми, что он невольно крепче взял девушку под руку. Она ничего не ответила.

А Курбатов уже думал о Клаве... Старая боль возвращалась теперь все реже и реже. Но, быть может, поэтому она казалась ему острее. И сейчас, вспомнив Печаткино, последнюю встречу с Клавой, Курбатов едва не застонал. И тут же опять увидел глаза своей спутницы. И улыбнулся, еле растягивая потрескавшиеся губы:

— Чуть не заснул на ходу.

— Нельзя, — донеслось из-под платка. — Надо все время идти...

— Пришли, кажется...

Яков, тяжело поднимая ноги, обогнал девушку. Передние уже остановились. Высокий человек в огромном, до пят, тулупе что-то говорил, размахивая руками. Курбатов подошел к нему: это был начальник тяги, тот самый, который несколько часов назад чуть не плакал в своем кабинете.

— Надо разжигать костры. Пусть ребята отдохнут.

— Отдохнут? — выкрикивал начальник тяги. — Вы с ума сошли! Какой отдых! Это же смерть... Работать, работать надо...

Он умчался куда-то, путаясь в своем тулупе, потом появился снова и начал втыкать в снег небольшие

колышки: там проходил трубопровод. Потом хрипло сказал Курбатову: «Организуйте же их!» — и снова куда-то исчез, будто растворился в иссиня-черных тенях.

Через час в лесу все переменялось. На очищенной от снега земле горели костры, растянувшись километра на два. Земля, вбирая в себя тепло, почернела, будто обугливаясь, а ребята, в ухарски сдвинутых шапках рубившие в лесу сосны, возвращались распаренные, красные.

Отрыть траншеи оказалось делом не таким уж трудным. Курбатов, когда его лопата звякнула о трубу, с трудом разогнув ноющую спину, подумал: «Всего полтора километра. Нас сто пятьдесят человек... Один человек на десять метров. К тому же трубы надо менять не целиком. Значит, сможем». И только теперь увидел, что уже светает. Над лесом поднималась заря. Костры горели слабее, уже видны были и две палатки, и несколько шалашей, и какие-то люди, о чем-то оживленно разговаривающие.

Это были рабочие депо. Несколько человек уже сидели на корточках, раздувая паяльные лампы. Тут же стоял начальник тяги и, по всей вероятности, инженеры, прибывшие из губцентра. До Якова донеслось:

— Трубы переключать не будем. Можно надеть муфты.

— А лед?

— Разогреем кострами...

Возле шалаша Курбатов встретил Попова. Тот выходил, вернее, вылезал оттуда на четвереньках и, встав на ноги, качнулся. В морозном воздухе резко запахло сивухой. Оттолкнув Попова, Курбатов откинул висевшее у входа одеяло. Человек восемь или десять комсомольцев сидели вокруг костра. По рукам шла уже наполовину пустая бутылка. Один из парней, увидев Курбатова, улыбнулся и приветливо махнул ему рукой:

— А, секретарь! Залазы! Дымно тут у нас, зато... Давай грейся с нами...

Курбатов молча смотрел на ребят, потом взял недопитую бутылку и, размахнувшись, бросил ее в сугроб:

— Кто у вас десятник? Попов? Ну так вот: все десять человек возвращайтесь обратно. На бюро поговорим особо...

— Яков, ты что? — шепотом спросил Попов. — Мы же — погреться! И выпили-то всего ничего...

Курбатов, сощутив глаза, придвинулся к нему вплотную.

— Всего ничего? Тебя как былинку шатает... Дезертиры!

Резко повернувшись, он пошел к траншее. Там уже кончали работу. Курбатову показалось, что народу стало больше. И в самом деле, чем дальше он шел вдоль траншеи, тем чаще встречались деповские рабочие, железнодорожники. «Когда они успели прийти?» — с удивлением подумал Курбатов.

Он заметил пожилого машиниста Федосеева — Курбатов познакомился с ним недавно в райкоме партии — и окликнул его.

— А мы сразу вслед за вами, — улыбнулся тот. — Триста с лишним душ... Ты что — не веришь? Где сам-то был?

— Траншеею копал.

— А руководил кто?

— Начальник тяги...

— Вот то-то и оно... Мы с Лукьяновым посмотрели на тебя, посмотрели, да и пошли...

Он не договорил. Рядом раздался голос Лукьянова:

— Вот он где, Курбатов! Хорош секретарь, нечего сказать. Теперь неделю в бане не отмоешься. Ну-ка, пойдем к костру...

Курбатов чувствовал, что у Лукьянова к нему есть какой-то разговор. Так оно и получилось. Глядя на Курбатова из-под белых бровей, Лукьянов спросил так же, как только что спрашивал машинист:

— Где ты был?

— Копал с ребятами.

— Личный пример?

— Да.

— А все остальное предоставил этому истерику — начальнику тяги? Сейчас ко мне твои ребята прибежали, которых ты домой отправил. В том, что они напились, ты виноват.

— Я? — Курбатов был поражен.

— Да, ты. Чего глаза таращишь? Неужели сам не понимаешь? Ты должен был **организовать** ребят, **возглавить** их. А ты — только землекоп! Помнишь, я тебе говорил насчет актива... Забыл.

— Что вы сказали Попову?

— Я тоже послал их домой, — ответил секретарь, держа над огнем руки в варежках и следя, как от них поднимается легкий пар. — Но, кажется, они не ушли... Это им урок, они теперь горы свернут. Сколько тебе лет, Курбатов? — вдруг неожиданно спросил он.

— Двадцать один...

— Эх, мне бы твои годы, — усмехнулся секретарь райкома. — Ну ладно, иди. Проверь каждую десятку, собери штаб... И пусть ребята отдохнут.

Было уже два часа дня, значит, работали они без перерыва восемь часов. В иное время, быть может, ничего страшного в этом и не было бы — Яков помнил, как там, в Печаткине, выдерживали и по двадцать часов. Но сейчас стоял сильный мороз...

Из леса на лошадях все время подвозили длинные прямые «хлысты» сосен. Тут же их пилили, кололи, и огонь, поначалу нехотя полизав промерзшую древесину, разгорался. Курбатов распорядился — всем отдыхать, но не спать.

Он все ходил, все всматривался в лица. Возле одного из костров увидел Попова. Тот, заметив его, быстро отвернулся. Курбатов прошел мимо.

Очевидно, подсознательно он искал ту самую девушку, с которой пришел сюда. Но как ее узнать среди десятков таких же, закутанных по самые глаза и поэтому похожих одна на другую? Он выругал себя за желание увидеть ее и подсел к костру, вокруг которого были навалены еловые ветки. Тут же он почувствовал, что его неудержимо клонит ко сну. Набухшие веки закрывались сами собой. Языки пламени то вдруг тускнели, то раздваивались и вырастали. Курбатов не заметил, как удивленно смотрели на него ребята, когда он, пошатываясь, встал, не заметил, как один за другим поднимались они за ним следом, медленно разбирали лопаты, ломы, кирки, как неловко спрыгивали в траншею...

Сделав несколько взмахов, он словно бы очнулся. Сонливость прошла, зато колотил легкий озноб. Но и

озноб скоро исчез. Курбатов уже весело посмотрел на соседа: рядом, плотно стиснув зубы, копал Попов. Яков крикнул ему:

— Ну, как хмелек-то — прошел?

Алеша медленно повернулся к нему, и Яков увидел такое же, как у остальных, серое, осунувшееся лицо, ввалившиеся щеки, синие тени возле глаз.

— Ты... прости меня, Яшка, — негромко сказал Попов. — Больше я в рот не возьму... Помирать буду — не возьму...

— А чего ты шепчешь-то? — засмеялся Курбатов. — Ровно в любви объясняешься.

— Да вот...

Он кашлянул, сплюнул на снег, и Яков увидел небольшое кровавое пятнышко, которое сразу же замерзло. Курбатов шагнул к парню, взял его за плечи, но Алешка быстро отвернулся и стал ожесточенно ковырять лопатой непослушную землю...

## 7

В конце декабря Лукьянов вызвал к себе Курбатова и, разбирая на столе какие-то бумажки, сказал:

— Когда поедешь на село?

— Хоть сейчас.

— Ишь, какой скорый! Впрочем, сейчас не сейчас, а завтра поезжай. За тебя останется Попов. Как он — выздоровел?

— Да. Но...

— Не доверяешь? — сощурился Лукьянов. — А зря. Значит, не заметил, как твои хлопцы после водопровода изменились. Я тут шел как-то по улице, впереди двое деповских ребят. Вдруг слышу: «А здорово было, с водопроводом-то! Я три дня отогреться не мог. А потом опять «мероприятия» пошли». Нет, брат, этот водопровод так ребят поднял, что им теперь только дела, а не мероприятия подавай. Так что не бойся за Попова, он еще и тебя перекроет.

Курбатов передал Алеше все казавшееся ему неотложным и потребовал:

— Сам все не делай. Карпыча как следует впряги, Смирнову, Лещева, Маркелова. Понял?

Алеша поправился не совсем, поэтому решили отправить его весной на юг. Курбатову удалось добыться для Попова и денежной помощи. А сейчас, уезжая в деревню, Яков собрал у ребят деньги и кой-какое барахло — обменять на сало и масло для Алеши.

Сборы были недолги. В железнодорожной охране выдали наган и две дюжины патронов: на всякий случай, как объяснил Лукьянов.

И вот рысью бежит пара лошадей, запряженных в сани-кибитку, мерно звенит колокольчик на дуге у коренника, звякают шоркунцы на шее пристяжной. Ямщик то соскакивает и семенит рядом с санями, то быстро влезает на облучок и правой ногой слегка притормаживает...

Закутавшись в огромный овчинный тулуп, Яков лежал в санях и расспрашивал возницу о Лемже, куда они ехали. Однако мужик попался неразговорчивый. Борода у него как печная заслонка — большая, черная. И весь он похож на какого-то патриарха этой северной, лесной глухомани. Вместо ответа он выковыривал из бороды сосульки. Но потом все-таки разговорился, и Курбатову приходилось даже перебивать его, чтобы направить в нужное русло.

Новый знакомый, надо полагать, был крепким середняком.

— Вот ты, паря, говоришь: беднота, беднота... А что от нее проку-то, от бедноты? Она потому и беднота, что работать не хочет. Лодыри они, вот кто. У хозяйственного мужика прокорм всегда будет, потому он работает не жалея себя. А лодырь, он до рождества и то впроголодь живет. Все у него валится, но он больше на печи лежит и не думает об этом, как будто не его изба, хлев там али амбар. Как сеять надо — он и идет к крепкому мужику семена просить. Такому мужику спасибо бы надо сказать, а его начинают окулачивать, равнять с Прошкой Рубцом. Рубец — тот взаправду наживается на нашей крестьянской нужде. Я тебе, паря, прямо скажу: неспокойная жись у нас в деревне. Крепкие мужики думают: непá, мол, и я за непой, как теля за маткой. А когда к нему лодырь-то приходит за семенами на высев, ему, конечно, неинтересно так на так давать: он с выгодой дает. Вот и заделывается прижимщиком. Своего же брата мужика прижимает. Неужто

власть не понимает, что не бедняк-лодырь ей опорой-то должен быть, а трудовой мужик, который работает и у которого и себе хватает, да он еще излишки сдает...

Курбатов почти не знал деревни, ему трудно было вступать в спор. Он лежал и внимательно слушал. В снях пахло свежей сеной прелью, сухим полевым цветком. Курбатов выбирал из сена отдельные стебли и грыз их, сплевывая горькую слюну.

На вопрос о деревенских комсомольцах ямщик отвечал зло:

— Их-то у нас всего ничего. Неплохие вроде ребята. Власть все боле их на побегушках использует. Они и налоги выколачивают, и с обыском насчет самогонки ходят. А бабы вот в обиде на них. Ну и мужики тоже... Они против бога и всей леригии выступают. Вон наемни у Симки Кривого сынок-то, комсомолец, что отчебучил! Лики святых угодников да богородицы картинками заклеил. Неделю, а то и боле, семейство на эти картинки молилось, да не замечало. Ну, известно, отец здорово его поучил за это. В больницу свезли. Так комсомолы на отца родного в суд подавать хотят. Разве порядок это? Вот все больше за это родители и не пускают к комсомолу ребят да девок...

Показались тускло светящиеся окна деревенских изб.

— К председателю сельсовета везти али куда? — спросил ямщик.

— Вези к председателю, — сказал Курбатов.

Скоро они подъехали к дому, стоявшему в самой середине деревни. Яков выскочил из саней, стал разминать затекшие ноги. На звук колокольчика кто-то вышел из избы с фонарем в руках. Это и был председатель сельсовета Егор Русанов. Они поздоровались. Русанов посветил Курбатову и провел его в избу.

В большой горнице стояла огромная русская печь. Во всю длину печи, на высоте человеческого роста, были полати. Под ними, в углу, за холстинной занавеской, — большая деревянная кровать. Несколько лавок, остывший самовар в красном углу да кадушка с водой — вот и все, что находилось в этой небогатой избе. Зато было чисто, сладко пахло хлебом. На лавке

за прялками сидели две молодые женщины, пряли лен. Крутятся, жужжали веретена.

— Устя, поставь самоварчик. Товарищ с морозца, — сказал Егор.

Одна из женщин положила прялку на лавку, взяла самовар и понесла его к печке. Скоро он засвистел, запел, словно живой.

Курбатов объяснил, зачем приехал.

— Больно хорошо, паря! Как раз под рождество угадал! Посмотришь, чем наша молодежь занята.

За чаем Егор начал рассказывать про себя, про положение в деревне, про комсомол.

...В Лемже была комсомольская ячейка, в которой насчитывалось пятнадцать человек из разных деревень, объединяемых сельсоветом. Но большое влияние на молодежь имел, к сожалению, Тимоха Рубец — сын местного кулака-лавочника. Он задавал тон, ребята на него равнялись. Даже гармонь в его руках — единственная на все село — помогала ему. Ни одна посиделка не могла обойтись без Рубца. В этих краях никогда не видели кино, не имели представления о радио. Курбатов, уезжая, договорился с комсомольцами депо, что они в порядке смычки с деревней возьмут шефство над отсталой Лемжей. И теперь видел, что это решение было правильным.

После разговора с Русановым Яков написал письмо в Няндому: просил, чтобы на рождество сюда прислали гармонь и кинопередвижку. Среди местных комсомольцев был баянист — веселый кудрявый батрак Мотя Заболотних. Но гармошки у него не было.

На праздники, в святки, молодежь веселилась. По вечерам собиралась на посиделки, ходила ряженая и нередко от скуки выкидывала дикие шутки.

В один из вечеров парни мокрым снегом залепили дверь в избу многодетной вдовы и досками закрыли трубу дымохода. Женщина и дети чуть не задохнулись, их едва привел в чувство фельдшер.

Курбатов с секретарем комсомольской ячейки Фейдей Ясиным решил сходить на посиделки.

В большой комнате под потолком горела керосиновая лампа. Молодежь расположилась на лавках вдоль стен. В середине горницы на табурете восседал Тимоха, хмельной, с грязными, спутавшимися волосами. Стоя возле дверей, Яков слушал, как парни

пели залихватские частушки с неприличными словами. После песен стали плясать, потом начались игры. К Курбатову подошли две девушки.

— Тебе, городской, сахару надо?

— Мне? — удивился Курбатов. — Какого сахару?

— Ну говори скорее — надо или нет?

— А какой же у вас сахар?

Девушки переглянулись и засмеялись.

— Да не думай — не постный, а сладкий. Сколько тебе фунтов?

— Ну, для пробы давайте два, — догадавшись, что это какая-то игра, ответил Яков.

Одна из девушек неожиданно обняла его и поцеловала в губы. Другая сделала то же.

— Ну что, сладко? Может, еще продать?

Курбатов покраснел. Девушки, расхохотавшись, убежали.

— Что это они?

— А у нас это запросто. У нас все игры с поцелуями. Подожди, еще ленты, смолу и всякую всячину будут тебе продавать...

Курбатов, накинув полушубок, вышел на улицу. Ясин, осторожно притворив дверь, вышел за ним.

«Какая серость, темнота», — подумал Курбатов и спросил Федора:

— Почему комсомольская ячейка не организует красных посиделок? Мы же вам руководство послали. Получили вы такую книжечку?

— Книжечку-то получили, — махнул рукой Ясин. — Да какой толк, если гармонист у нас — сын мироеда. Ни мы к нему, ни он к нам на поклон не пойдет. А какие же посиделки без гармошки? На них и не явится никто.

То, что говорил Ясин, было правдой.

— Давай все-таки сами организуем посиделки, — сказал Курбатов наконец. — Гармошка будет, а гармонист у вас есть. Ты приходи с ребятами в избу председателя сельсовета — обо всем и договоримся.

На другой день был составлен план первых комсомольских посиделок.

По поручению райкома партии Яков попытался провести общее собрание бедноты. Но на собрание никто не пришел. На другой день выяснилось, что Тимоха Рубец, наученный отцом, обошел бедняков и

не только каждому из них угрожал тем, что отец откажет в помощи, но и грозился, что он им «все кишки выпустит».

Приехавший из волости по настоянию Курбатова милиционер арестовал Тимоху и отправил в уездный город Каргополь. Там его на время следствия посадили в исправдом. Через неделю крестьянин, ездивший в город, привез от Тимохи письмо к отцу, но передал его в сельсовет. Тимоха писал:

«Уважаемый папаша здесь сидеть мне пока ничево. Очень меня беспокоит как обернется дело дыму им под хвост! Извиняюсь за нескладное слово.

Посули свидетелям угощение пусть отвечают что непровинен. Пришли сделай милость кое-какой жратвы а то я здесь с голода пухну и еще спрости у матери телогрейку вредно дует под дверь нет мочи терпеть. А затем прощайте не забывайте а сидеть мне здесь пока ничево.

Ваш сын *Тимофей Рубцов*».

Через три дня удалось собрать бедноту.

Курбатов пришел вместе с Русановым. С порога увидел большого седого мужика с хитрыми черными глазами. Крутя в заскорузных пальцах сигарку, он рассказывал что-то необычное, и Курбатов невольно прислушался:

— Захожу я, робяты, в амбар, гляжу — на мешке мышь сидит, сапог обувает. «Куда?» — спрашиваю. «Да чего-то у тебя голодно, — говорит. — Пойду по мужикам, которые побогаче». А жили мы с дедушкой богато. Было у нас двадцать котов дойных да два кота езжалых: один кот — иноход, другой — водовоз. Пахотной земли у нас было — печь да полати, да за столом лавки. Вот посеяли мы с дедушкой на печи рожь, на полатях овес. А бабушка наша, старуха резва, три дня на полати лезла, оттуль свалилась да на три части разбилась. А дедушка мой — не промах был. Всегда за поясом лычко носил. Он бабушку лычком сшил да еще три года с ней жил. Трех ребят с ней нажил... Все это присказка, а сказка впереди будет. Я вот городскому товарищу о нашем ЕПО расскажу, о приседателе Евлахе Бароне. Пускай спервоначалу товарищ из города объяснит нам: кто она такая ЕПА будет и для чего она у нас?

Курбатов не ожидал такого поворота и немного растерялся, когда мужик обратился к нему и когда увидел десятки смеющихся, лукавых глаз.

— ЕПО — это единое потребительское общество, или потребительская кооперация, — справившись со своим смущением, ответил Курбатов. — Оно создано для того, чтобы снабжать своих пайщиков необходимыми в хозяйстве товарами...

— Ишь ты — «необходимыми товарами»! Значит, в нашем ЕПО все должно быть? Так я понимаю? — спросил один. — А у нас выходит наыверт. Все равно что штаны через голову снимаем. Давай-ко, Прохор, расскажи...

Седой мужик, только что смешивший народ, степенно откашлялся и огладил бороду.

— Извиняюсь, товарищи, ежели что не так скажу — вы уж не обессудьте. Только мы от своей ЕПЫ одни неприятности видим. Скоро все наши пан прахом пойдут. А все это от приседателя, от Евлахи, происходит. Мы почему его зовем Бароном? До революции он в Питере у какого-то господина барона служил. С ним, он говорит, даже пристав за ручку здоровался. Ну, видел, как баре жили, какая у них культура была, и вот норовит нынче нас к этой культуре тянуть. Ну, прямо, замучил, леший колодный. От этой его культуры не знаем, куда и деваться. Да и убытки от нее большие. А Евлахе хоть бы хны! Он ведь что выкомаривает — сказать стыдно...

Выбрали мы его, значит, приседателем. Думаем — грамотный и в Питере побывал, так уж дела-то наладит. Ну, тут и началось. Он нас на культурную революцию потянул и товары такие стал заводить. Намедни летом завез душную воду. Говорит, что там, в Питере, барон завсегда этой водой прыскался, чтобы, значит, дух хороший шел. А кому она, это душная вода-то, нужна? Девки и то ей прыскаться не хотят. Попробуешь на язык — опять же самогонка лучше. От этой же — вонь одна да язык щиплет. Ну пришлось Евлахе всю воду обратно в Питер везти. А там за ту же цену ее не приняли. Значит, опять нашей ЕПЕ убыток.

Или вот удавок навез. Конечно, никто их не брал, так он в эту удавку обрядил деда Фому (верх-то у нее что к шее — уже, а что к пупу — шире) и водил его

по деревне, показывал, какой дедка есть культурный. За то, что дед надел удавку, Евлаха ему полтинник дал, а нам говорит, что это расходы на какую-то рикламу.

Опять же горшков чудных привез: в городе, которые благородны, в них по почам за нуждой ходят. Но горшки-то, ладно, все разошлись: бабы их в хозяйство пустили, ручка есть...

Много чудачит Евлаха со своей культурой, аж тошно стало терпеть. Скоро он все наши пай ухайдакает... Вот, дорогой товарищ, какие дела завелись. А главное, наша ЕПА в трубу летит, а Прошка Рубец этим пользуется. У него в лавке все есть. Но дерет он втридорога. И все равно народ к нему валом валит: он в долг записывает. Правда, у него не на столько возьмешь, сколько он запишет. Но платить — плати.

Мужик говорил, а все согласно кивали головами.

Так в тот день никакого собрания и не провели. Но Яков уходил с радостным чувством: от этих людей с грубыми и сильными руками исходило необычайное душевное тепло. Курбатов ясно сознавал, что от того, как он поступит, во многом зависит бедняцкая вера в Советскую власть.

Вызванный им председатель ЕПО Евлампий Савин произвел на него неприятное впечатление. Был он сухощав, тщедушен и бесцветен, как вода. Савин улыбался, показывая выкрошившиеся зубы, часто моргал красными, как две болотные клюквины, глазами, изгибался и все время гундосил: «Как прикажете-с, что изволите-с, а уж это конечно-с...»

Курбатов написал обо всем в уезд. Скоро приехала ревизия. Было назначено собрание пайщиков потребительской кооперации, и председателем ЕПА избрали комсомольца.

Наконец наступило рождество, которого Курбатов ждал со смешанным чувством опасения и надежды. В канун праздника из няндомского депо прибыли шефы. Они привезли подарки — венскую гармонь и кинопередвижку. Вместе с ребятами приехал и солидный, невозмутимый Карпыч, на которого Яков сразу же взвалил организацию первой красной посиделки. Карпыч попыхтел, побурчал и вдруг неожиданно спросил:

— Наган у тебя с собой?

— С собой.

— Дай мне. Я тебе потом расскажу зачем. А не дашь — я по деревне нипочем не пойду.

Нагана Курбатов ему не дал, но, увидев огорченное лицо Карпыча, решил, что ходить они будут вместе.

Первые красные посиделки было решено провести в просторной избе сельсовета. Еще задолго до назначенного часа изба была битком набита. Вначале приехавшие шефы вручили венскую гармонь Матвею Заболотних. Тот бережно принял ее и сразу же заиграл деревенскую, всем знакомую мелодию. Молодежь заулыбалась, оживилась.

Потом был киносеанс. Всех желающих изба не вместила, многие стояли на улице и смотрели в окна, подернутые легким морозцем.

Один из комсомольцев начал крутить ручку динамо, а киномеханик запустил аппарат. Он застрекотал — и поплыла кинокартина «Фатти-миллионер». В зале все разом зашумели, заговорили. Зрители плохо разбирались в происходящем, улавливали лишь отдельные детали:

— А петух-от! Петух-от! Живой! Ай ты батюшки!

Когда автомобиль поехал с экрана прямо на присутствующих, бабы завизжали, а пастух Ефим угрожающе поднял кнут. Один из стариков не выдержал, подошел к экрану и, ощупав его, сплюнул:

— Нечистая сила, не иначе!

Киномеханик пустил вторую картину — «Как Семен перешел на многополье» — и начал давать свои объяснения:

— Вот, граждане, этот старательный крестьянин сейчас пьет чай, а потом поедет в поле.

Мужики, уже успокоившиеся, вглядывались в экран с видимым интересом.

— Чисто одет. Видать, не наших губерний. Не иначе, что ярославский...

— И сахару у него полна сахарница. Житьишко богатое! И хватки серьезные.

Пока артист пил чай, все сходило благополучно. Но едва он вышел запрягать лошадь, все покатились со смеху:

— Какой же это мужик? Гляди, гляди, коня-то как запрягает! И подойти к нему боится. Ай, собачий сын,

хомута откеда подтягивает! А за плугом-то как идет.  
Потеха!

На следующий день девки на улице пели:

Я миленка обниму —  
Пойдем, миленочек, в кино,  
Сделай радость для души,  
Картины больно хороши.

Председатель сельсовета, демобилизованный красноармеец Егор Русанов, жаловался Якову:

— Отвык я... Кулаки, вроде Рубца, всю душу мне съели: так и хочется стукнуть. Ты меня не спрашивай, ты мне лучше сам скажи: когда мы их, сукиных детей, скрутим? Не понимаю я: власть наша, а кулак живет. Живет ведь!

Курбатов пытался было растолковать ему, что такое нэп, но Русанов яростно дергал контуженной головой и обрывал Якова:

— А, брось ты!..

Русановские слова о кулаках Курбатов вспомнил и почувствовал немного позже.

...Он шел по селу с Карпычем, когда им навстречу попался Рубец-старший. Карпыч вдруг нырнул за спину Курбатова, а кулак вытащил из валенка большой, блеснувший на солнце нож.

Курбатов почувствовал, как у него ослабли колени. Повинуясь какому-то инстинкту, Яков попятился. Рубец смотрел на него в упор из-под мохнатых рыжих бровей.

— Отрыщ! — крикнул он Курбатову. — Ну!

— Яшка, тикай! — крикнул отбежавший в сторону Карпыч.

Спиной Курбатов уперся в забор — дальше отступить было некуда. И Рубец двинулся на него. Резко запахло самогоном. Дрожащими руками Яков рванул из кармана наган и щелкнул курком:

— Не подходи, убью!

Рубец не останавливался. Очевидно, он заметил растерянность Курбатова, увидел его меловое лицо. В тот момент, когда Рубец взмахнул рукой, Курбатов отскочил, нож, распоров полушубок, задел плечо. Потемнело в глазах, и нападавший превратился в серое пятно. Тогда Курбатов выстрелил в это пятно раз,

потом другой и смутно увидел, как Рубец медленно повалился на плетень.

По улице бежали люди. На кулака навалились несколько человек, но он уже не сопротивлялся...

Курбатову было досадно уезжать, не доделав до конца задуманного. Он хотел организовать здесь избу-читальню, провести несколько бесед, лучше узнать, чем держится кулак. Рана была не опасна — нож распорол мышцу, но рука от кисти до плеча ныла так, будто из нее тянули жилы.

Курбатов не понимал, почему Рубец бросился на него среди бела дня. За Тимоху? Он мог сделать это тайком, ночью. И почему Карпыч так перетрусил?

Русанов, усаживая Якова в сани, как под маленького, подпихивал под него со всех сторон подстилку и сено. Потом положил сало и масло для Алеши Попова. Карпыч, уезжавший вместе с Курбатовым, суетился виновато. Таким Яков видел его впервые.

Когда сани тронулись, Курбатов, приподнявшись, крикнул Русанову:

— Чуть что — приезжай в Няндому!

Молча отъехали от крайних изб Лемжи. Наконец Яков сказал:

— Плохо у нас еще в деревне. Ну, да ничего, вернемся сюда...

— Что? — не расслышал Карпыч. — Куда вернемся?

— В деревню. Ох, как этих сволочей вроде Рубца крутить надо!

Карпыч оживился:

— Вот, вот. Я бы их всех... Гады они...

Он запнулся.

— Ты... Яков, уж извини меня, что я удрал. Знал: наган у тебя есть. Это через меня Рубец так на тебя накиннулся...

Курбатов, прикрыв глаза, слушал, как Карпыч, люто ругаясь, рассказывал о своем знакомстве с Рубцом.

...Года три назад в Няндоме было особенно тяжело с продуктами. Карпыч продал и поменял все, что только можно было. Нередко он приезжал и сюда, в Лемжу, к Рубцу, который давал ему хлеб в обмен

на вещи. Кулак уже пресытился: в большой пятистенной избе не умещалось все, что он приобрел за бесценок. В конце концов он начал брать только такие вещи, которыми мог бы похвастаться перед родными и знакомыми.

Как-то раз, роясь у себя на чердаке, нашел Карпыч среди барахла больничное судно, бог весть какими судьбами попавшее сюда. На дне его был фирменный штамп, поставленный зеленой краской.

С судном под мышкой Карпыч пешком отправился за тридцать верст в Лемжу. Он пришел к Рубцу и скромно сел за лавку, положив на колени завернутую в сатиновую тряпицу посудину. Хозяева в это время хлебали наваристые мясные щи. У Карпыча даже голова закружилась от давно забытого запаха. Однако его не пригласили за стол. Хозяева съели щи и принялись за жареную в сале картошку, делая вид, будто и не замечают пришельца.

Рубец, приобретая разные диковинные вещи, тайно соревновался с кулаком из соседней деревни Бахваловым. Карпыч и решил сыграть на этой слабости. Он вдруг встал, взял шапку и пошел к двери.

— Куда это ты? — удивился Рубец.

— Хотел одну вещицу предложить, да вижу, что тебе ее не надо. Дорога́ больно. Я уж к Бахвалову пойду — он наверняка купит. Тот в таких вещах толк понимает.

Упоминание о Бахвалове сразу вывело Рубца из равновесия. Вытирая о штаны жирные пальцы, он подошел к Карпычу, взял его под руку и повел обратно:

— Не уходи уж, раз пришел. Что мы — Бахваловых хуже или беднее? Давай-ка раздевайся да поговорим. Что там у тебя?

— Говорить-то нам, наверное, не о чем, — упрямылся Карпыч. — Вещь-то царская! Еще проговоришься, узнает кто — и заберут ее в музей.

Рубец, распаленный любопытством, не мог больше терпеть.

— Давай показывай, — потребовал он.

Карпыч осторожно, не спеша, начал разворачивать тряпку, а развернув, поставил судно на стол. Рубец и его родичи вопросительно смотрели то на судно, то друг на друга, то на Карпыча. Действительно, такой штуки Рубцу не приходилось видеть. «Вроде

как бы на братину похожа, из которой пиво пьют, — подумал он. — Только ручка есть. Сама круглая и с дыркой...»

— Ты вот на что внимание обрати! — таинственно сказал Карпыч и повернул судно кверху дном. Хозяин увидел большую зеленую печать с латинскими, стершимися от времени буквами, а в середине — птицу. Кругом печати были нарисованы медали. «Орел, видно, — решил про себя Рубец. — И медали имеются». Он был уже окончательно убежден, что эта вещь особенная.

— Говори давай, что это за штука!

Карпыч, задумчиво почесав переносицу и еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, ответил:

— Штука эта, видишь ли, не простая. Раньше в благородных домах ее сервизом звали. Да не все и благородные дома имели ее, а только те, которые принадлежали к царской фамилии. Видишь герб и медали? — Он показал на штамп. — Итальянский королевский герб! Эту вещь на именины самому царю итальянский король подарил!

— Ишь ты! — не удержался Рубец. — А что же царь с этой диковиной делал?

— Она у него в спальне на столике у кровати стояла. На ночь в нее наливали шампанского. Ночью царь проснется с похмелья, ну и... попьет.

Рубец подозрительно заметил:

— Пить из нее вроде неудобно...

Карпыч сказал, что из нее и не пьют, а наливают в особый стакан, тоже фарфоровый.

Рубец был искренне удивлен.

— Скажи пожалуйста! И откуда ты все это знаешь? Уж не врешь ли? Да и как к тебе, шантрапе голодной, царская вещь могла попасть?

— Я вам ее и не навязываю, — обиделся Карпыч. — На такую ценность охотники найдутся! — И стал медленно заворачивать судно в тряпку. — А досталась она нам просто. Братуха мой, Павел, Зимний дворец в революцию брал. Вышибли они оттуда юнкеров и пошли по залам. Смотрит мой братуха — стоит этакий небольшой столик, весь золотой, на изогнутых ножках, а на нем эта штука и рядом — стаканчик. Братуха мой тоже такой диковины никогда не видывал. Подвернулся тут лакей царский, ну и

объяснил, что к чему. Этой штуке, говорит, и цены нет! Ее, почитай, только три царские фамилии имеют. Ну, братуха, не будь дураком, взял да и положил ее в свой мешок...

Рубец ухватился за Карпыча.

— Чего завертываешь-то? Давай толком говори, сколько за нее хочешь. Да не привирай очень-то!

— Есть нечего, а то бы ни за что не продал. Ежели желаете, то за пять пудов муки отдам!

— Эка хватил! Пять пудиков! Да откуда я тебе их возьму? Может, ты еще и наврал мне все! — торговался Рубец.

— Как хотите. — И Карпыч снова начал бережно упаковывать судно.

— Подожди, делом говори! Хочешь два пуда ржи дам?

— Это за такую-то вещь? — Карпыч продолжал завораживать свою «драгоценность».

И Рубец согласился дать четыре пуда ржи, три фунта сала и даже пошел на то, чтобы Тимоха довез Карпыча до Няндомы.

Через некоторое время в деревне был престольный праздник. К Рубцу пришли гости, в том числе Бахвалов с семейством, поп с попадьей и дочками.

На столе была всякая всячина. И среди множества закусок и бутылок с самогоном, в самом центре, стояла «царская чаша», наполненная брагой. Бахвалов сразу же поинтересовался, что это за штука. И Рубец, довольный, подробно рассказал ему о своей необычной покупке. Бахвалов, не скрывая, позавидовал его удаче.

Все открылось тогда, когда гости начали рассаживаться. Младшая поповна вдруг покраснела и, отвернувшись, стала хихикать. Потом что-то пошептала на ухо матери. Попадья вышла из-за стола, отозвала Рубца в сторону и брезгливо сказала, что дочка видела точно такую же штуку в городской больнице, когда болела дизентерией...

Курбатов, слушая этот рассказ, не смеялся. В памяти снова и снова вставало исступленное лицо Рубца, рыжие лохматые брови, нож, зажатый в огромном кулаке. «Когда же? Когда же они наконец исчезнут?» Ярость, перед которой он был бессилён, душила его.

Карпыч долго молчал, потом сказал:

— Струсил я, бросил тебя. Дело ведь не внагане... А вот ты — молодец. Ты идейный, убежденный! Мы с тобой одноклассники, а я жизни не видел... Не гожусь еще для большого дела...

Последние слова Карпыч сказал таким убитым тоном, что Курбатову даже жалко стало его.

— Не горюй, жизнь твоя вся впереди.

— Знаешь, Яшка, дай ты мне комсомольскую нагрузку по шефству над деревней. Хочу таких дел наворочать, чтобы этим Рубцам тошно стало!

— Ладно. Только один ты ничего не сделаешь. Тут, брат, всем работы хватит...

Под полозьями поскрипывал снег. По обеим сторонам дороги стеной стоял могучий лес. Оставшийся путь ехали молча.

Курбатова должны были встречать, — ребята знали, что он вернется сегодня. Но уже мелькали приземистые окраинные домишки, уже виднелась крыша райкома, а так никого и не было.

Стало обидно. Курбатов решил: раз так — не поеду в райком, имею полное право отдохнуть в конце концов. И он крикнул:

— Давай вправо!

Когда лошади свернули в боковую улочку, Яков увидел Попова. Возница притормозил.

Парень подошел к саням, и Курбатов как можно безразличнее спросил:

— Ты откуда?

— У тебя был. Печку истопил...

— А грустный чего?

Алеша молча смотрел на Курбатова, и тот вдруг похолодел.

— Что-нибудь случилось?

Он даже не расслышал, а скорее почувствовал, что ответил Алеша...

Черным стал снег. Черными стали дома, деревья, люди.

Прошептал, еле шевеля застывшими губами:

— Ленин?

— Да... Умер...

И Курбатов заплакал, громко, навзрыд, кажется, первый раз в своей сиротской неласковой жизни.

Эта зима была особенно тяжелой. Потому с таким нетерпением и ждали люди весны, с ее теплом, влажным воздухом, запахом древесной коры. Наконец весна пришла — дружная, быстрая. Сама природа будто хотела вознаградить людей за те тяготы, которые им пришлось пережить.

Курбатов, едва выздоровев, опять впрягся в работу. Да так, что Лукьянов спросил его как-то:

— Ты что, парень, двужильный?

В мае Курбатова слушали на бюро райкома партии. Он обстоятельно рассказал, что сделано за полгода: организован спортивный кружок, строятся шлюпки — открывается лодочная учебная база. Летом в Няндоме будет молодежный клуб. Но самое главное, что после починки водопровода ребята поверили в живые дела. Даже учеба, которую они не любили, перестала быть для них скучной комсомольской нагрузкой. Двенадцать человек были приняты в партию по ленинскому призыву.

Прения по отчету развернулись оживленные. Говорили много хорошего, похвалили Курбатова за поездку в деревню, упомянув, впрочем, что это только «кавалерийский наскок», а настоящая, постоянная работа на селе так и не организована.

Наконец слово взял Лукьянов и, постукивая карандашом по столу, начал говорить, не глядя на Курбатова, словно его здесь и не было. Яков знал, что секретарь райкомпарта возобновит разговор, начавшийся там, в лесу, на починке водопровода. Курбатов слушал, и ему было больно, хотя он понимал, что секретарь прав, тысячу раз прав.

— Я думаю, товарищи, никто не будет возражать против того, что комсомольская работа у нас ожила, пьянства и хулиганства стало меньше. Молодежь с интересом участвует во всех делах комсомола. Все это очень хорошо. А я вот буду говорить о плохом. Замечаете ли вы, товарищи, что наш комсомольский секретарь стремится делать все сам? Мне кажется, он подминает ребят под себя и, не желая того, не дает расти тем, кто мог бы с успехом сам справиться с той или иной работой. Посмотрите — наш Курбатов везде! В кружке спорта — он руководитель, вечер организо-

вать — он опять же главный. Ну, одним словом, кругом он да он. Мы с ним как-то говорили об этом. Но, видимо, еще не вполне дошло. Я думаю, Курбатова надо поправить. Нам нужно растить актив в комсомоле, а его можно вырастить только на практической работе. Не нужно бояться, что другие завалят то или иное дело. При личной, хорошо поставленной проверке исполнения любое дело увенчается успехом. Ты, Яков, должен знать, какое значение придавал Ленин вопросам проверки. «Гвоздь всей работы» — вот как говорил Владимир Ильич...

После этого бюро Курбатов вызвал к себе Карпыча и, поговорив с ним о деповских делах, неожиданно сказал:

— Организуй поход, а? С песнями, с весельем, с удочками...

Карпыч опешил:

— Какой поход?

— А вот ты сам подумай — какой.

— Опух ты, что ли? — обиженно протянул Карпыч. — А кто ж работать будет? Сам говорил — все силы на работу, а тут прогулка.

Курбатов, невесело рассмеявшись, рассказал Карпычу о райкомовском обсуждении. Тот хлопал себя по промасленным штанам, ахал, охал, а потом заметил:

— Правильно тебя взгрели.

— Что?

— Правильно, говорю. Помнишь, я однажды в депо о спортивном кружке докладывал? Помнишь?

— Ну, помню, — неуверенно ответил Курбатов, еще не понимая, куда клонит Карпыч.

— Ну, а ты вышел и то же самое сказал. Не поверил, что меня ребята поймут. А потом...

Курбатов поторопил его:

— Чего потом? Договаривай...

— Да нравилось нам, что ты все за нас делаешь. Хлопот меньше...

Иван испуганно отшатнулся, когда Курбатов почти вплотную придвинул к нему злое лицо.

— А теперь — конец! Понял? Сами будете все делать.

Карпыч потер пятерней коленку и удовлетворенно крякнул: «Подействовало!»

— Так вот, — сухо закончил Курбатов, — план прогулки, маршрут и все такое представишь через два дня.

Иван встал, вразвалку подошел к двери и, взявшись за ручку, обернулся с усмешкой:

— А я и сейчас могу тебе все представить. Думаешь, мы об этом не думали? Думали. На Большое Островишное пойдем. А ты у нас за повара будешь — уху тебя заставим варить.

В конце мая установилась теплая, совсем летняя погода. На стенах няндомских домов, на заборах висели большие объявления:

«С субботы на воскресенье на всю ночь состоится прогулка-экскурсия на озеро Большое Островишное. Прогулка преследует цель культурного отдыха и разумных развлечений. Там будут: музыка, песни, игры. Любители смогут удить рыбу, а охотники — охотиться. Сбор молодежи в 6 часов вечера у райкома. Приглашаются и взрослые».

Афиша висела всю неделю. В Няндоме об этой первой прогулке было много разговоров. Женщины говорили: раз взрослых приглашают, так бояться нечего, пускай развлекутся ребятишки.

В субботу у райкома собралось человек триста. Разбились на звенья, построились в ряды. Вынесли комсомольское знамя, и за знаменосцем встали два гармониста. Еще один — позади колонны. Когда проходили поселок, все его обитатели высыпали на улицу.

Решили идти ближним путем. Тропа была неширокая, и колонна сильно растянулась: в голове ее пели одну песню, в середине — другую, в хвосте — третью...

Наконец показалось озеро, на середине которого был большой остров. Берега — высокие и покатые — поросли травой, буйным ивняком, а у берега — густые камыши.

Каждое звено построило себе шалаш. Развели костры. Ребята приспособивали над ними чайники и котелки. Самодеятельность было решено показать на следующий день, а вечером решили делать кто что хочет. Рыболовы сразу же пристроились на берегу, охотники побрели в лес.

...Курбатов уселся на склоне с двумя удочками. Но пока клевали одни прожорливые ерши, так заглатывавшие крючок, что его едва можно было достать у них изо рта.

Вдруг за спиной он услышал чей-то звонкий голос: — Яша удит, удит, а вот что кушать будет?

Оглянулся. Сзади стояли девушки и ухмыляющийся Карпыч. Курбатов вспомнил, как тот грозился заставить его варить уху, и кивнул на котелок, где плескалась дюжина ершей:

— Скоро поедим ухи...

— Кому же такая рыба нужна? Что с ней делать-то? — спросила одна из девушек.

— А самая вкусная уха именно из таких ершей. Я ее сам и сварю, как приказано товарищем Карпычем. А потом уж и критиковать можете...

Девчата крикнули: «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» — и ушли. словно бы в ответ на эти слова поплавок несколько раз сильно дернуло, и Яков, чувствуя, как упруго перегибается удилище, вытащил большого полосатого окуня. «Эге! Отдыхать вроде становится интересно!»

Теперь он не видел ничего, кроме поплавок, сделанного из пробки, и гладкой, отражающей низкие облака поверхности воды. Большая стрекоза села на поплавок, где-то в стороне плеснула рыбина, и у Курбатова вдруг сладко защемило сердце: «Как глупо, что я стал считать, будто все это уже не для меня. До чего же глупо!»

Он вспомнил, что в последний раз отдыхал в каникулы, когда учился в совпартшколе. Сейчас он чувствовал, что устал, очень устал, и это здорово — побыть на озере, не думая ни о чем, кроме того, как бы поймать хорошего окуня.

Яша заметил, что неподалеку от него удит рыбу парень в форме телеграфиста. Женщина, сидевшая рядом с ним, очевидно, устала глядеть на воду и пошла вдоль берега, время от времени срывая цветы. Вдруг она поскользнулась и, проехав по траве, упала в воду. Здесь, под берегом, было глубоко, и женщина, схватившись за куст, вскрикнула.

Курбатов подскочил первым. Когда, вытащив ее, он помог женщине встать, она благодарно взглянула на него. Курбатов покраснел и отвел глаза от строй-

ной, обтянутой мокрым платьем фигуры. Поспешно отойдя от места происшествия, он услышал за спиной:

— Тюлень какой-то, а не муж! Хоть бы руку протянул. Видно, не мила стала...

— Марго, перестань! — лениво отвечал телеграфист.

Вскоре они ушли.

Курбатов, собрав удочки, направился к шалашам, чувствуя, как сердце бьется особенно гулко, а смущение, охватившее его на берегу, уступает место забытому сладкому и волнующему ощущению.

Он сел возле костра, где, вытянувшись на еловых ветках, блаженно всхрапывал Карпыч. Алеша Попов читал какую-то книгу.

— Ну, рыболов, много наловил?

— С лихвой хватит. Объешься.

Неподалеку от них, закутавшись в одеяло, сушилась неудачливая купальщица. Она сидела к Курбатову спиной, распустив густые, медного цвета волосы.

Яков толкнул Попова:

— Кто это?

— Это? — Алеша мельком поглядел в сторону женщины. — Это Марго, Володьки-телеграфиста жена. Ничего баба, только Володька рогатый ходит...

Женщина поднялась, и Курбатов уткнулся в свой котелок. Он чувствовал, что она идет сюда, и старался сделать вид, что ничего на свете, кроме пучеглазых ершей, его не интересует. Но она уже стояла рядом:

— Я вас так и не поблагодарила. Вы настоящий мужчина, не то что мой пентюх. Большое спасибо...

Курбатов осторожно пожал ее мягкую руку. Не отнимая ладони, Марго сказала:

— Это все равно, будто мы с вами на брудершафт выпили, — можем теперь друг другу «ты» говорить. На неделе я буду ждать вас к обеду.

Когда она отошла, Яков поймал себя на том, что руки у него дрожат и ему трудно чистить рыбу.

Вскоре уха все-таки была готова. Карпыч, проснувшись, умчался разыскивать девушек. Ели с аппетитом и все время хвалили. Но вдруг Алеша зажал рот и побежал в кусты. Все с недоумением посмотрели ему вслед. Потом девушки прекратили есть и охнули. Курбатов с удивлением глянул на брошенную ложку и пришел в ужас: в ней лежал червяк — ры-

бья наживка. Когда он чистил рыбу, то, видно, заду-  
мавшись, забыл ее вытащить.

Вернулся Алеша — он был бледен и вытирал пот  
со лба.

— Ну и накормил, секретарь! Ты случайно не па-  
пуас? Говорят, папуасы тоже червей едят. О чем ты  
мечтал, когда рыбу чистил? Не о прекрасной ли  
Марго?

Курбатов только рукой махнул.

Выливая уху, Карпыч тяжело вздохнул:

— А аромат-то был какой! Эх, Яша, Яша, замеча-  
тельную уху загубил! И все из-за бабы...

Встретившись через день с Лукьяновым, Яков ску-  
по рассказал о прогулке и не преминул упомянуть  
о том, что с начала и до конца вылазка была орга-  
низована Карпычем.

— Значит, неплохо получилось? И пьяных не  
было?

— Не было.

Лукьянов вдруг начал спрашивать о том, на  
какой квартире Яков живет, хватает ли денег, как  
отдыхает.

— Да никак! Вот только вчера и отдохнул.

— Плохо, — нахмурился Лукьянов. — Надо уметь  
отдыхать, Курбатов. Я вот знаешь что делаю? По де-  
реву выпиливаю. Очень хорошо отдыхается.

«Странный разговор», — думал Курбатов, идя до-  
мой. Но он, как ни удивительно, совпадал с теми мыс-  
лями, которые пришли на озере: о том, что должно  
же быть у человека и личное, одному ему принадле-  
жащее, свое...

Две вещи волновали сейчас Курбатова: организа-  
ция комсомольско-молодежных бригад для субботни-  
ков по капитальному ремонту паровоза — подарка  
к Первому мая — и лодочная станция. Стоило Кур-  
батову вскользь сказать деповским ребятам о том,  
что хорошо было бы на субботниках отремонтировать  
паровоз, как те загорелись и через два дня пригласи-  
ли секретаря на комсомольское собрание по этому  
вопросу.

Начальник тяги, поначалу недовольно слушавший  
комсомольцев («А кто отвечать будет за ремонт?»),

наконец махнул рукой: «Делайте как хотите, все под богом ходим». Бригады были организованы тут же, на комсомольском собрании.

С лодочной станцией дело обстояло сложнее. А сложность была в одном — в деньгах. Платные спортивные представления давали крохотные сборы. Учпрофсоюз отмалчивался, и к концу мая удалось построить всего лишь одну лодку, да и с той произошла неприятность.

Первую шлюпку с тремя парами весел решили не тащить на озеро, а вначале испытать на пруду, в центре поселка. Под звуки гармошки, с флагами, комсомольцы принесли ее на пруд. Собрались жители поселка — зрелище для этих мест было невиданным.

Шлюпку спустили на воду, но она оказалась такой вертлявой, что в нее едва села команда. Ваня Рябов цвел. Он был в новой морской форме «первого срока», гладко выбритый и надушенный, такой, каким вряд ли был когда-нибудь на инспекторских смотрах. «Весла на воду! Правое гребни, левое табань!» Поскольку ребятам приходилось только догадываться, что такое «табань», шлюпка сразу же чуть не опрокинулась. Рябов, казалось, не слышал ничего, ровно глухарь на току. «Суши весла! Весла на валец! Весла по борту!» Тут-то лодка и зачерпнула воду, шатнулась с бока на бок и спокойно пошла ко дну. Ребята, а вместе с ними и Рябов, оказались по горло в грязной воде и с трудом двинулись по глинистому дну к берегу, на ходу вылавливая весла.

Зрители кричали разные сочувственные слова, что, дескать, первый блин комом и что у первых-де российских мореходов получалось хуже. Рябова утешали, что белая форменка отстирается, только поначалу из нее надо вытряхнуть карасей... Курбатов и досадовал и хохотал вместе со всеми, когда злополучную шлюпку вытаскивали и водворяли на «верфь». Пришлось приделывать к ней дополнительный киль.

В тот же вечер, возвращаясь домой, Курбатов услышал за спиной веселый женский голос:

— Пойдите, спаситель мой! Вы как будто меня избегаете? Приглашали вас обедать — не заходите. Что это, а?

Курбатов растерялся. Его тянуло к этой женщине,

но он понимал, что она никогда не станет ему близкой. Марго тем временем продолжала:

— Не секрет, Яша, куда вы идете?

— Какой же тут секрет. Просто иду...

Он хотел сказать «обедать», но вдруг передумал и сказал «в райком».

— У меня там срочное совещание. Извините, я к вам в другой раз зайду... Передайте привет мужу.

Он торопливо пожал руку погрузившейся женщине и пошел в сторону райкома.

## 9

Уезжая на губернский комсомольский съезд, Курбатов и не предполагал, что вернуться на работу в Няндому ему уже не доведется, а приедет он сюда только за тем, чтобы передать дела, в последний раз поговорить с ребятами и собрать свой нехитрый багаж.

Никакие самоотводы не помогли. Не помогли и доказательства, что нельзя срывать человека с места, когда он только-только начал налаживать работу. Не помогла телеграмма в Няндому Лукьянову: «Собираются выдвигать секретарем губкома зпт срочно опротестуйте перед Даниловым». В день выборов пришел ответ: «Горячо поздравляю зпт одобряю решение конференции зпт лети высоко тчк Лукьянов».

Фамилию Курбатова занесли в списки для тайного голосования. В члены комитета его избрали почти единогласно, а на пленуме выбрали секретарем губкома комсомола.

В Няндоме уже все знали. И жалко было ребятам расставаться с Курбатовым, и радостно, что избрали секретарем именно его. Карпыч, поздравив, проворчал:

— Так я и знал, что ты на гастроли к нам приехал. Не работа это... Теперь пришлют нового. Добро если нормальный человек, а то трепач какой-нибудь попадетсся.

— Никого присылать не будут.

— Как же?

— А так же. Мало ли здесь ребят? Возьмут и тебя, например, изберут. Я посоветую.

Карпыч взъерился:

— Я тебе «посоветую»! Ты что, хочешь, чтоб здесь все прахом пошло, да?

Этот спор оборвал Рябов. Какой-то обалдевший от счастья, он ввалился в райком, красивый, надушенный, как и тогда, на первом испытании лодки. Еще в соседней комнате он с кем-то целовался, гулко хохотал, а войдя к Курбатову, шумно обнял его.

— Мой штурман снова военмора принесла на десять с половиной фунтов. Я его в Совете зарегистрировал. Только как-то не так получается. Вот раньше крестины устраивали — слышно было, что человек родился! А ведь нынче-то не просто новый человек рождается, а еще и советский! Но вокруг этого факта — молчок, тишина, когда, наоборот, надо бы звону... Очень прошу тебя: давай октябрить моего пацана!

У Курбатова по-мальчишески озорно блеснули глаза.

— Ладно, Иван. Устроим октябрины!

На новых «крестинах» все было честь честью: Курбатова избрали вместо «крестного», «кумой» была приглашена второй секретарь райкома партии Мокина. Карпыч развернул бешеную деятельность, и новорожденному принесли много подарков. Счастливые отец и мать сидели в президиуме.

«Крестины» были последним делом Курбатова в Няндоме. В тот же вечер, стоя с ребятами на перроне, он прислушивался к последним петухам, скрипу телег, местному говору, и легкая грусть поднималась в нем.

Карпыч молчал в стороне. Когда появился поезд, он, как-то боком придвинувшись к Курбатову, про бурчал:

— Ты... прости, Яша, если что было не так... Встретимся, я думаю...

Курбатов кивнул ему и в последний раз оглядел приземистые дома, невысокие северные деревья, длинное кирпичное здание депо, увидел флаг над райкомом... Он оставлял здесь часть своей души. Большую или маленькую, но оставлял. И появившаяся было грусть куда-то ушла, уступив место радости от сознания, что кое-что он все-таки успел сделать.

Несколько дней он знакомился с делами. Хотя на съезде говорилось о различных неполадках, но то, что узнал Курбатов из отчетов секретарей райкомов комсомола и низовых организаций, заставило его посмотреть на вещи куда более придирчивыми глазами.

В городе безработица.

Окончившим школу негде применить свои силы.

Дисциплина на предприятиях расшатана.

Часть молодежи находится в плену порожденных изгом упадочнических настроений (кто-то назвал их есенинскими!).

Выходят из комсомола, даже не подавая заявлений: просто послав к черту секретаря, если тот пытается их «вразумлять».

Вскоре на бюро слушали отчет первого райкома комсомола города. Секретарем оказался Митя Чубуков. Курбатов знал его еще по совпартшколе. Паренек из железнодорожных мастерских был неуравновешен, быстро загорался, но так же быстро и погухал. А потом «дымил»: «Вот опять ничего не получилось».

Отчет Чубуков сделал такой, что в пору было запеть «Гром победы, раздавайся», и прения поэтому начались вяло. Первым выступил заведующий экономическим отделом губкоммола Галкин: как-то нехотя, словно по обязанности, похвалил он работу райкома и его секретаря. Те, кто выступал за ним, также говорили какие-то ничего не значащие слова, и только завполитпросветом Фомин, кадниковский комсомолец, покритиковал райком.

Курбатов начал спокойно:

— Галкин восхвалял здесь работу райкоммола. Кому-кому, а ему-то нужно было бы знать положение дела. Я в губотделе труда и у директоров предприятий поинтересовался, как работает молодежь на производстве. И надо сказать, что цифры я получил страшные, если, конечно, принимать их близко к сердцу, а не относиться к ним хладнокровно.

— Что, плакать мне прикажешь? — вызывающе бросил Галкин.

— Смеяться или плакать — это крайности. Цифры надо анализировать и делать выводы, правильно ли мы работаем. Я приведу вам их. Из всех прогулов восемьдесят процентов падает на молодежь, а из про-

гульщиков — больше половины комсомольцев. За полгода из всего количества административных взысканий шестьдесят процентов получила молодежь. Спрашивается, где же руководители комсомола? Почему мы не замечаем такого упадка дисциплины на наших советских предприятиях? Говорят, что некоторые хозяйственники тоже неправильно относятся к молодежи. Не всюду хотят брать подростков на сокращенный рабочий день: ждут фабзавучников. А известно ли вам, товарищи, что на бирже труда на учете много безработной молодежи? Какие-то умники там даже комсомольскую ячейку безработных создали.

— Ну и что такого? — отозвался Чубуков. — Это по Уставу, по производственно-территориальному принципу.

— Я дал указание создать эту ячейку, — сказал Галкин.

— А ты бы хоть советовался в таких вопросах. Ум хорошо, а два лучше. Какой же здесь производственный принцип?

— Извините, товарищ начальник, больше не буду, — не скрывая издевки, ответил Галкин.

Курбатов, чувствуя, что бледнеет, сказал как можно сдержаннее:

— Чем так кривляться, ты бы лучше уважал тех, с кем работаешь... Мы ведь тоже коллектив.

Но Галкина уже нельзя было остановить.

— С уважением и почтением к вам, синьор Курбатов.

Яков не понимал, чем вызвано такое поведение Галкина.

— С таким обсуждением мы далеко не уйдем и, конечно, правильного решения не примем. Я продолжаю. Вот у меня справка из милиции. За прошлый год из трехсот приводов двести пятьдесят падают на молодежь. До отчета я советовал Чубукову посмотреть цифры по району. Он этого не сделал.

Чубуков пожал плечами:

— Я советовался с Галкиным, а он посмеялся надо мной и сказал, что Курбатов чушь морозит. Он, мол, скоро тебя еще к сектантам пошлет — цифры у них о молодежи просить.

— А ведь правильно, — усмехнулся Курбатов. — Нам и сектантами надо заняться. Я недавно проходил

мимо их молельни и заглянул: очень много там молодежи. Не знаю, понял ли Чубуков все, о чем здесь говорили?

— Понял, понял,— чересчур поспешно ответил тот.

— Раз понял, хорошо. Я предлагаю работу райкома признавать неудовлетворительной. Чубукова предупредить. Практические предложения поручить комиссии. Срок — три дня.

Воздержался один Галкин.

После бюро Курбатов попросил его остаться, но Галкин махнул рукой:

— Отношения выяснять? Думаю, не стоит — не выясним. Притворяться не умею. Работать вместе будем, но и только...

— А я, между прочим, тебя не на чай приглашаю,— сказал Курбатов. Тот вспыхнул и, резко повернувшись, вышел.

— Чего это он? — удивился Чубуков.

— У нас это еще с совпартшколы...

Чубуков поглядел на Якова как-то исподлобья.

— Ну, Галкин с тех пор переменялся... — начал было он.

— К худшему,— отрезал Курбатов. — И не будем больше говорить об этом. В конце концов для меня важна работа. Кстати, если ты с ним в дружбе, то так ему и передай. И еще передай, что на все личные неприязни я плевал.

Вернувшись домой, в общежитие, Курбатов ощупью добрался по темному коридору до своей комнаты, нащупал рукой выключатель, зажег свет и вздрогнул: возле окна стоял высокий человек в черной кожаной тужурке, перепоясанной ремнем. На Курбатова глядели знакомые огромные черные глаза.

— Лобзик! — обрадовался Курбатов. Тот обнял его.

Они сидели друг против друга — Лобзик на стуле, Курбатов на кровати — и то начинали хохотать, ударяя друг друга в грудь, то замолкали, вспомнив что-нибудь грустное. Лобзик рассказал обычной скороговоркой, что встретил в Москве Вальку Кията — он учится в институте, — о разных своих приключениях...

— А сюда-то ты как попал? — спросил наконец Курбатов.

— На работу прислали.

— На какую?

— Оперуполномоченным ОГПУ. Так что, товарищ секретарь губкомла, работать нам снова с тобой рядышком...

## 10

Приходя утром в комитет, Курбатов прежде всего просматривал газеты. И в тот день, развернув «Красный Север», он пробежал глазами заголовки и наткнулся на кричащую строку: «Верный барометр партии». Слова эти были уже знакомы — их недавно бросил Троцкий. Под статьей стояло: «Иван Галкин, заведующий экономическим отделом губкомла». Сразу почуяв недоброе, Курбатов стал читать.

И в самом деле: в статье пунктуально перечислялись все те недостатки, о которых несколько дней назад он, Курбатов, говорил на бюро. Но вывод, вывод! Яков два раза, не веря себе, прочитал конец статьи: «Все это является отражением того политического состояния, в котором мы сейчас находимся. Трудно в такой обстановке думать о каком-либо успехе. Мы вредим сами себе».

Курбатов скомкал газету. «Ах, сукин сын!.. Троцкий — так тот хоть более или менее отчетливо говорит, что у нас ничего не выйдет. А этот — «трудно думать об успехе...» Ах, сукин сын...»

Галкина в губкомле не было: он взял отпуск и укатил отдыхать в Москву. Курбатов хотел позвонить Данилову, но тот позвонил сам, и Яков услышал в трубке знакомый, налитый яростью голос:

— Обсуждалась эта статья на бюро?

— Нет. Мне он ее не показывал. Думаю, членам бюро тоже.

— Что собираешься предпринимать?

— Еще не решил... Но этого дела мы, конечно, не оставим.

Данилов выругал троцкистское болото и уже спокойно попросил Курбатова зайти к нему.

— Кстати, объясню тебе, откуда такие настрое-

ния... Все больше увлекаетесь вечерами да забавами. Между прочим, Галкин правильно восклицает... возьми-ка газету. Взял? Вот во второй колонке: «Где же дела и подвиги под стать героинке гражданской войны?» И на этом сыграл, подлец!

Повесив трубку, Курбатов задумался. Действительно культработе отдавалось больше всего и сил и времени. Он чувствовал, что это не самое главное в комсомольской жизни. Но сложившаяся у губкомольцев привычка была прочной. Вот и сегодня в городском театре комсомольская пасха: большой карнавал-маскарад; будет около тысячи комсомольцев. Конечно, лучше, чтобы они шли на карнавал, чем по пивнушкам. Но ведь на подготовку этого мероприятия ухнули столько времени, что просто досада берет!

Да, слишком много этих «мероприятий». Слишком много экскурсий, вечеров, танцулек.

На карнавал Курбатов отправился со стесненным сердцем. Пошел вместе с Лобзиком, который вечером был свободен. Войдя в театр и стараясь держаться в стороне, они сели в глубине длинного, вытянутого фойе. Мимо них проносились смеющиеся арлекины, толстопузые купцы, гусары в доломанах, нарядные красавицы в высоких кокошниках. Лобзик следил за всем жадными глазами. Курбатов это заметил:

— Что, ноги сами в пляс идут?

— Идут. Люблю, когда людям весело!

Потом они долго ходили среди танцующих, с кем-то здоровались, но с кем — не могли понять: на лицах были маски. Веселье, казалось, достигло высшей точки, когда внезапно потух свет. Он погас так неожиданно, что какое-то время еще играла музыка, а молодежь продолжала танцевать. В крошечной тьме раздался чей-то голос:

— Секретаря губкома к телефону!

Курбатов и Лобзик, натыкаясь на людей, поспешили к выходу.

Снова звонил Данилов. На этот раз голос у него был не злой, а просто усталый:

— Что, перепугались? Неожиданный дивертисмент... Успокойте публику: это не конец света, а просто авария на плотине. На реке был залом, и местные

комсомольцы разобрали лес... Ну, моль и понесло. Запань раскидало бревнами. Короче говоря, лес дошел до плотины и развалил перемычку. Она земляная, а тут еще паводок, будь он неладен. Ты понял меня?

— Да, да...

— Надо срочно организовать ребят. Сколько там у тебя?

— Около тысячи.

— Ого! Целая армия... Ну так вот — я уже распорядился подать эшелон.

Курбатов кинулся обратно в фойе. Подняв по привычке руку (никто в темноте этого не заметил, и шум продолжался), он крикнул, требуя тишины. Но голоса его не услышали. Те, кто стоял ближе, зашикали, и наконец можно было говорить.

Курбатов вкратце рассказал, что произошло. Он не требовал, не просил, не уговаривал — он просто сказал, что надо всем сейчас же идти на вокзал. И когда люди один за другим потянулись к выходу, он тоже нырнул в толпу. Выбравшись на улицу, крикнул:

— Строиться!

Странное это было шествие по ночному городу! Все почти бежали, однако ухитрились петь: «Ах, куда ты, паренек, ах, куда ты...» Впереди, как нарочно, шли «черти», страшные, рогатые. Среди них затесался «Посейдон» с трезубцем. Прохожие шарахались, некоторые крестились.

Данилов уже расхаживал по перрону, поглядывая на часы. Когда вагоны были взяты штурмом, он, подтолкнув Курбатова, влез за ним в теплушку:

— Много я, Курбатов, видел на своем веку, а такого не приходилось...

...Река уже пробила в плотине широкую, метров в десять, брешь. Через промоину, все больше и больше разрушая земляное тело, подпрыгивая, переваливалась вода, кидая вниз, в водоворот, последние бревна принесенного паводком леса.

Нужно было на носилках, тачках, а то и просто на спине, в мешках, таскать песок и камни из берегового карьера. Пожарники, прибывшие раньше, не

могли справиться одни. И вот «матрсс», перепоясанный пулеметными лентами, взвалив на плечи мешок, тяжело бежит к плотине. Две девушки, одна — «фея», другая — «весна», в зеленой тюлевой накидке, несут носилки, быстро перебирая босыми ногами. «Архиерей» в клубке, подоткнув ряску, вместе с «лордом Керзоном» тянет рогожу, на которой высится пирамида сырого песка.

Когда через несколько часов Курбатов разогнул занемевшую от мешков спину, то с удивлением подумал: «Неужели кончили?»

Вместе с Даниловым он обошел участок. Тот вдруг спросил:

— Как ты думаешь, они жалеют?

— О чем? — не понял Курбатов.

— Ну, о том, что пошли сюда. Все-таки бал, веселье... А сегодня в баню не пробиться будет — грязные все.

И, не дожидаясь ответа, сам сказал:

— Нет, не жалеют. Так в чем же дело? Почему каждый день у себя на работе, на простых делах, они живут не так? Значит, плохо мы им доказываем, что каждый день можно совершать подвиги...

Когда все собрались на берегу реки, состоялся короткий митинг — очень деловой. Он словно бы закреплял тот неожиданный взлет, которому вскоре суждено было перейти в обычные, внешне ничем не приметные будни.

Стоя возле костра, Курбатов неожиданно встретился глазами с глазами девушки, сидящей на носилках. Закинув руки за голову, она поправляла тяжелые волосы. Яков разом увидел острые локти, торчащие из рукавов, нежный овал лица и отвернулся. Но тут же посмотрел снова. И теперь уже отвернулись оба.

Курбатов увидел ее опять на станции, когда она садилась в поезд. С ним был Петр Колчин, давний член бюро, хорошо знавший местных комсомольцев. Курбатов, показав глазами на девушку, спросил:

— Не знаешь, кто это?

— Таня Воротова, член бюро ячейки безработных. Идем в вагон, познакомлю.

В теплушке было человек десять, не больше. Едва Курбатов и Колчин вошли, Таня поднялась и перешла к противоположным дверям.

— Куда ж ты? — удивился Колчин. — Во-первых, здравствуй, а во-вторых... Вот знакомься, человек с тобой поговорить хочет...

Колчин отошел к ребятам, а Курбатов, растерявшись, не знал, с чего начать. Глядя в лукавые темные глаза, он терялся еще больше.

— Так о чем вы хотели поговорить? — насмешливо спросила Таня.

Курбатов нахмурился.

— Как вы относитесь к тому, что сказал на митинге Данилов? — спросил он, сам удивляясь невероятной глупости вопроса.

— Положительно, — пожала она плечами.

— Я заметил... вы такая грустная...

— Наблюдательный, — сыронизировала Таня. — А ничего веселого в моей жизни нет. Говорят о каких-то идеалах. А где они, эти идеалы, у безработной?.. Как-то даже смешно, что у нас при бирже труда существует комсомольская ячейка, и я член бюро, политпросветработник ячейки! Ведь правда смешно?

— Расскажите мне, чем живет молодежь. Я ведь здесь человек новый...

Девушка не отвечала. Потом, вздохнув, опять пожала плечами.

— Чем молодежь живет? По-настоящему живет только тот, кто работает. Действительно, для рабочей молодежи у нас везде дорога, для нее и рабфаки и вузы, хотя и среди этой молодежи некоторые недовольны тем, как работает комсомол. Все одно и то же: политкружок, политэкономия, политлотерея, политвикторина. Все полит да полит! Или уж вечера один за другим... Вы знаете, как все это оскомину набило? Я знаю многих ребят, рабочих, которые воевали в гражданскую. У них нехорошие настроения: «За что боролись?» Снова «Пивоваренный завод Киселева и К<sup>о</sup>», «Колбасная Мазалева», «Мучная торговля Кожица». Непонятно это многим. Мне тоже, хотя я не такая уж неграмотная.

Подобные разговоры Курбатов слышал не раз. Не об этом ли говорили в Няндоме двое ночных гуляк: «...опять брюханы с цепочками пошли!»? Да, многие не понимали то, что происходит. И тут тоже была вина комсомола — плохо объясняли...

Яков хотел было заговорить, но девушка перебила его:

— Не собираетесь ли вы мне лекцию о нэпе читать? Не надо. Надоело, не хочу больше.

— Ну, тогда расскажите о себе.

— Заполнить анкету?

— Ну что вы! — испугался Курбатов. — Просто мне интересно узнать о вас хотя бы немного.

— Хорошо, удовлетворю ваше любопытство, хотя я никто — ни рабочая, ни крестьянка, ни служащая... Год назад окончила школу и состою на учете на бирже труда. У нас там полсотни комсомольцев и, знаете, состав более или менее постоянный!

Да это и понятно: там все такие, как я. Что дала мне школа? Общие знания и никакой профессии, никаких трудовых навыков? А кому нужны эти знания? Один раз предложили пойти уборщицей в какую-то литейную мастерскую. Я не пошла. Не пошла не потому, что считаю это зазорным, а потому, что обидно. А другой работы нет. Отец у меня служащий, из-за этого я не смогла получить командировку в вуз. Справедливо это? А учиться очень хотелось... И разве я виновата, что отец мой не кузнец, не слесарь, а банковский чиновник? От такой жизни опуститься можно. Всем этим и пользуются некоторые.... Вы еще ничего не знаете о «вечерухах». В одном месте они бывают частенько. Меня даже познакомили с компанией, которая этим занимается...

— А что такое — «вечерухи»?

— Это очень, очень скверно: групповой разврат.

Курбатов покраснел. Нельзя, наверное, было о таком спрашивать девушку. И все-таки, преодолев смущение, сказал:

— У нас есть законы, преследующие таких людей. Видно, тут одной воспитательной работы мало... Зайдите ко мне в губкомол. Да хотя бы завтра вечером... Ладно?

Она ответила не сразу.

— Я давно хотела пойти... Пойти и рассказать...

— Вот и хорошо!

— Хорошо? — грустно усмехнулась Таня.

— Да вы не расстраивайтесь! Такое положение среди молодежи будет недолго. Мы сейчас восстанавливаем наше хозяйство, а скоро будем много стро-

ить — даже памяти от безработицы не останется, людей не будет хватать... При поступлении в вузы отменяют все ограничения. Ну, вот такие, с какими и вы столкнулись. Еще несколько лет — и мы сами себя не узнаем...

Поначалу девушка слушала его с прежней грустной улыбкой, а потом, прямо взглянув на Курбатова, сказала:

— А я, между прочим, все это знаю... И... верю в это. Иначе мне совсем плохо было бы.

Курбатов не был в губкомле три дня: ездил в Печаткино. Когда он входил в кабинет, раздался телефонный звонок. Это был Лобзик.

— Я тебе весь день звоню, — торопливо говорил он. — Важное дело есть. Сейчас приеду...

Он появился минут через пятнадцать, скрипя ремнями, курткой, сапогами, и сразу же спросил:

— Пойдешь на «вечеруху»?

— Куда? — растерялся Курбатов. — А... что, решили прикрыть? Почему же ты в это дело вмешался, а не угрозыск?

Лобзик молчал.

— Тайна? В вашем чекистском деле от партии тайн не должно быть.

— Так ты ж еще не партия, а только отдельный коммунист! — Он бросился в кресло. — Никакой особой тайны нет. Но говорить об этом никому не надо. Задержали мы тут... господина: из-за кордона прибыл. На допросе он раскололся. Оказывается, хозяин одной квартиры устраивает оргии по его заданию. Дело, так сказать, вроде бы уголовное, а если пошире поглядеть — политическое.

— Ясно. Когда?

— В девять подходи к Сенной площади. Пойдет группа комсомольцев-осодмиловцев. Ведет нас эта твоя девушка, Таня. Комбинация простая: ее ждут, она звонит, хозяева открывают, мы входим...

В девять Курбатов был на месте. Из подъезда одного из домов сразу же выбежала Таня и бросилась к нему. Он увидел ее растерянное лицо и улыбнулся.

— Ну что с вами? Страшно?

— Немного, — призналась она. — Они на все способны. Один, Геннадий, словно рысь: глаза желтые и клыки...

Лобзик подошел к ним неслышно и на ходу бросил Тане:

— Идите вперед. Мы сзади. Ты, — он придержал Курбатова за рукав, — со мной.

Курбатов шел, нащупывая в кармане шероховатую рукоятку браунинга. Он не видел ничего, кроме тоненькой девичьей фигурки впереди: Таня шла одна, осторожно ступая по камням тротуара. Курбатов слышал, как постукивают ее каблучки, и внезапное теплое чувство охватило его — он даже замедлил шаги, потрясенный: «Может быть, именно так, внезапно, и приходит любовь?»

...Вот и калитка, ведущая в небольшой захламленный двор. За сараями — голубятня, сбитая из ржавого кровельного железа. Прижимаясь к дровяницам, осодмиловцы скользнули в глубь двора и оказались на крутой, с разбитыми ступеньками лестнице. Пахло кошками, кислой капустой. Якова передернуло: ну и логово!

Таня поднялась на второй этаж и, когда Курбатов и Лобзик встали рядом, три раза позвонила. Колокольчик умолк, и тут же послышался женский голос:

— Кто там?

— Я. Откройте! — громко сказала Таня.

Дверь отворилась.

— Что так поздно? Договаривались ведь...

Таня вошла первой. За ней Лобзик с пистолетом наготове, Курбатов и двое осодмиловцев. Они прижали к стене открывшую им девушку.

— Только тише, — шепотом предупредил ее Лобзик, — иначе плохо будет...

Из комнаты, где сидела компания, донесся сиплый голос:

— Вера, с кем ты там застряла?

Лобзик распахнул дверь и приказал:

— Сидеть смирно!

Осодмиловцы быстро встали у окон. Курбатов огляделся.

В большой комнате с мягким пушистым ковром на полу и дорогой, хотя и безвкусной, мебелью было жарко и накурено. За столом, уставленным бутылка-

ми, сидело человек пять парней и две девушки — все почти голые.

— Ваши документы,— потребовал Лобзик.

Из-за стола медленно встал высокий худощавый человек. Свет упал на его лицо, и Курбатов узнал... Генку! «Как он оказался здесь? Неужели его выпустили на свободу?»

Желтые рысьи глаза с ненавистью глядели на Курбатова. Ленивым движением Генка накинул пиджак:

— А чумазый! Вот и снова встретились. Мне говорили, что ты в больших начальниках ходишь, а ты, оказывается, просто сексот\*... Документы тебе надо? Сейчас получишь...

Он опустил руку в карман, но Лобзик подскочил к Генке и сильным рывком заломил назад его руку — в ней тускло блеснул ствол нагана.

Внизу всю компанию уже ждал крытый фургон.

О том, что Ленинградский губком комсомола оказался в руках зиновьевцев, здесь, в городе, знали понаслышке: одни — больше, другие — меньше. В известие, что губком принял страшное по своему цинизму решение, отказавшись подчиниться постановлениям Четырнадцатого съезда партии, невозможно было поверить. Но это было так.

Однажды, придя на работу, Курбатов среди утренней почты увидел увесистую бандероль с почтовым штемпелем Ленинграда. Разорвав бумагу, он вынул пакет с надписью: «Синяя папка», хотя на самом деле это была самая обыкновенная бесцветная канцелярская папка. В ней оказались аккуратно уложенные антипартийные документы — платформа оппозиции, несколько листовок, решение Ленинградского губкома, книга Зиновьева «Ленинизм» и т. п.

Рассылкой этой «Синей папки» на места преследовалась одна цель: втянуть губернские комсомольские организации в борьбу против партии.

Курбатов решил: «Покажу Данилову... Что-то уж больно оживленно трудятся ленинградские губкомовцы...»

---

\* Сексот — секретный сотрудник.

Данилов, мельком просмотрев документы, бросил их в ящик.

— Ты мне вот что скажи: у тебя-то в комсомоле как? Без этих?.. — Он покрутил пальцами возле лба.

— Да нет, не без этих... Вы же Галкина знаете!

Курбатов коротко рассказал ему обо всем, и Данилов крякнул:

— Ладно, поговорим после,— пробасил Данилов.

Курбатов понял, что секретарь недоволен. Он и сам хотел поговорить с Галкиным. Но тот после возвращения из Москвы покаялся в грехах, напечатал в «Красном Севере» опровергающую самого себя статью, и дело ограничилось словесным внушением на партийной ячейке.

Был и другой «умник». Как-то на механическом заводе к Курбатову подошел рабочий паренек и сказал:

— Что же вы к нам всякое дерьмо присылаете?

— Какое дерьмо?

— Да этого, Антонова! Ходит, только воду мутит...

Антонова прислали из ЦК комсомола: перевелся он сюда из Ленинграда. Характеристика у него была обычной, но Курбатов насторожился.

Когда Яков рассказал об этом Чубукову (завод был в его районе), тот набычился:

— Брось ты эту демагогию разводить! Всюду тебе оппозиция мерещится. А если парень с мозгой и думает не так, как записано в решении под нажимом Курбатова, то это еще не беда. Я его в состав пленума выдвину, между прочим.

Пленум был назначен на начало января. Ждали Данилова, но он уехал в Москву. Курбатов, открыв пленум, сказал:

— Еще до съезда на всякие дискуссии и на проработку его решений у нас ушло много времени и сил. Но зато мы можем сказать, что комсомольцы и молодежь, которые участвовали во всем этом, многому научились. На собраниях наших ячеек было предоставлено право говорить всем, также и оппозиционно настроенным товарищам. Я, пожалуй, ошибся, назвав их товарищами. Нашими товарищами могут быть только те, кто беззаветно предан партии и борется за ее генеральную линию, за решения съезда. Но они хоть открыто проповедовали свои антипартийные

взгляды. Поэтому сегодня мы выдали им гостевые билеты. Не наша вина, что от них все отвернулись, что всем надоело слушать их трепотню и клевету на партию. Меня тут, на механическом, один парень так и спросил: «Зачем дерьмо прислали?»

На этом пленуме мы должны потребовать от наших доморощенных оппозиционеров — от тех же Галкина и Антонова — честно выступить и рассказать об их теперешних настроениях, о том, разделяют ли решения съезда партии, могут ли сказать, что признают свои ошибки? Кстати, несколько слов о Галкине... Он член бюро губкомзала. Все мы его знаем, вместе учились, вместе работали. Партия его тянула. Он стал вроде бы политически грамотным, а...

— Да брось ты все обо мне! Что я тебе, брюква на выставке, что ли? — зло перебил его Галкин.

— Зря сердисься, — улыбнулся Курбатов. — Видно, правда глаза колет. Итак, Галкин требует от нас поворота к старым формам работы, которые давно были отвергнуты самой молодежью. Он выступает против организации комсомолом досуга молодежи, против политической учебы. По этим вопросам он нам навязывает какую-то новую дискуссию. Спорить нечего: съезд партии очень ясно сказал, чем должен заниматься комсомол. Пускай Галкин здесь и ответит, как он относится к этим решениям съезда, будет ли как следует работать или по-прежнему мешать и разваливать организацию...

— И скажу! Думаешь, испугаюсь тебя, аппаратчика! Скажу, как ты критику зажимаешь! — крикнул Галкин.

На него зашикали, председатель постучал карандашом о графин и спросил, кто будет выступать.

Галкин поднялся со своего места:

— Дай-ка мне слово.

Он протиснулся между рядами и, на ходу доставая из карманов какие-то бумажки, поднялся на трибуну. Он был бледен. Обеими руками приглаживая непослушную кудрявую шевелюру, Галкин, усмехнувшись, сказал:

— Вот тут Яков Курбатов произвел меня чуть ли не в вожди оппозиции. Договорился до того, что я мешаю работать и даже разваливаю работу.

Кто-то крикнул из зала:

— Правильно, мешаешь!

— Говори о своих оппозиционных взглядах. А насчет практических твоих дел я еще скажу! — бросил с места Карпыч: он только вчера приехал из Няндомы и весь вечер рассказывал Курбатову о директивах, присылаемых Галкиным.

— Тут требуют,— продолжал Галкин, показывая на Карпыча,— чтобы я сказал о своих якобы оппозиционных взглядах. А я скажу, что у меня этих взглядов и не было.

— Не ври! На комсомольских собраниях со своим ленинградским дружкой Антоновым вместе выступали,— заметил Курбатов.

— Видите, мне не дают говорить! Где же демократия?

Колокольчик председателя наконец водворил тишину.

— Не во всех вопросах, а только в некоторых я был не согласен. Первое — я не был согласен, да и сейчас это мнение у меня осталось, что наши предприятия являются предприятиями последовательно социалистического типа. Если предприятия социалистические, то почему у нас есть безработица, почему мы вводим броню подростков, почему рабочий не получает полностью за свой труд в размере тех ценностей, которые он производит? Почему жмут на рабочего, заставляют выполнять норму, могут уволить с завода, если его рожка не понравится начальству? Да и много еще есть «почему»... Пока никто меня не убедил в обратном. А если так, то «госкапитализм назовемте госкапитализмом...»

Он закончил свое выступление цитатой из книги Зиновьева. Не успел Галкин сойти с трибуны, как на его место встал Чубуков — растерянный, даже, пожалуй, подавленный всем тем, что здесь происходило.

— Ну что я вам скажу, ребята?.. По-честному, по-рабочему, запутался я, вернее — запутали меня, а я не разобрался да и стал звонить в чужой колокол. Ну и попал в темный переулок... Вот только съезд партии мне помог. Здорово помог! Тут до меня Галкин болтал... Сразу видно, что он промышленных предприятий не знает. Думает, что работать на заводе — все равно что коров пасти,— особой дисциплины не надо.

А вот попробуй без дисциплины литье из вагранки получить, или на паровом молоте отковать что-либо, или паровоз отремонтировать! Без дисциплины тут ничего не сделаешь...

И вот еще что: любой малограмотный рабочий не поверит, что он работает на капиталистическом предприятии. Разве бы в таком случае развивалась у нас рационализация? Стали бы сами рабочие заботиться о производительности труда? Хотя Галкин и заведующий экономотделом губкоммол, а в рабочих ячейках не бывает. Он, конечно, грамотнее меня, умеет красиво говорить. Ну, а я зато выкладываю все на чистоту.

Короче — простите меня, ребята! Теперь я вижу, что не туда и не за теми пошел. А где я был с ними, завтра об этом расскажу на бюро партколлектива и туда же принесу всю «амуницию», которой меня снабжали.

— Предатель! — выкрикнул из зала Антонов.

Чубуков грохнул кулаком по трибуне:

— Предатель? Я партию и товарищей никогда не предавал! О тебе же разговор особый... О том, как ты ловишь вот таких дураков, как я, и заставляешь их идти против партии... И про твоих подголосков — Бека, Ханина — тоже расскажу.

В зале зашумели. Колокольчика в руках председателя не было слышно. Наконец объявили:

— Слово имеет Антонов.

На трибуну взбежал коротконогий взъерошенный человек. Поправляя очки, он начал поспешно говорить, словно боясь, что ему не дадут высказаться:

— Я, товарищи, не займу у вас много времени, знаю, что это бесполезно. Вас большинство, и вы не умеете уважать мнения меньшинства. Прежде всего я хотел рассказать вам о том, что Ленинградская комсомольская организация не согласилась с решениями Четырнадцатого съезда партии и вынесла по этому вопросу свое решение.

— Организация или губкоммол? — поинтересовались из зала.

— Решение вынес губкоммол, но губкоммол отражает мнение всей организации!

— Всей ли? Сколько сейчас там ваших сторонников?

— Я хочу не об этом сказать, а о том, что вот этот аппаратчик, — Антонов ткнул пальцем в Курбатова, — скрыл от вас, что он получил из Ленинградского губкоммола «Синюю папку», где были все документы, о которых вам необходимо знать...

Это был точный расчет — в зале загалдели. Курбатов, никак не ожидавший такого поворота, побледнел. Он поднялся и спросил:

— Что, сейчас по этому поводу дать справку или потом?

— Давай для ясности сейчас!

— Тогда проголосуем, а то Антонов скажет, что я не позволил ему говорить. Кто за то, чтобы я сейчас дал справку? Большинство. Тогда минуточку, Антонов. Да, я получил «Синюю папку». В ней были те же самые оппозиционные антипартийные документы, о которых не раз говорилось на собраниях, и мне кажется, что они всем вам надоели.

— Надоели, правильно!

— Поэтому я вам ничего об этой папке и не сказал. Но документы, которые там были, я сдал в губком партии товарищу Данилову. Я кончил.

Антонов, подождав, пока в зале утихнут смешки, сразу же начал говорить о другом:

— У нас, среди ленинградских активистов, распевалась, между прочим, такая частушка:

И решили мы на съезде:  
Социализм в одном уезде  
Будем строить без конца —  
Ламца-дрица, гоп ца-ца.

Сейчас я и буду говорить об этом «уездном социализме», ибо это основной вопрос наших разногласий с большинством.

— Не с большинством, а со всей партией, — не выдержал Курбатов (черт с ним, пусть кричит, что ему мешают говорить).

Антонов с иронической вежливостью поклонился:

— Раз вы считаете, что со всей партией, то пусть будет так... Подумайте, товарищи, об «уездном социализме». И вы придете к выводу, что его без мировой революции построить нельзя.

— А если ее долго не будет — пропадать нам всем, что ли?

Антонов обернулся — сзади стоял Карпыч и делал ему выразительные знаки: освобождай, мол, место. Антонов развел руками: видите, какова демократия? А Карпыч, втиснувшись в трибуну, заявил:

— Прошу слова по порядку ведения нашего пленума. Что же это, товарищи? Разве опять дискуссия открылась? Почему сегодня нам снова приходится выслушивать клевету на решения съезда, на партию? Я предлагаю лишить Антонова слова и отобрать у него гостевой билет. Ты, Курбатов, не звони в колокол-то. Ты хотел показать, что партия оппозиционерам рот не зажимает. А мы сейчас с этим не согласны. Мы хотим покрепче им рот зажать! Хватит, наслушались. А этого брехуна я предлагаю из зала вывести. Ну-ка, ребята, кто «за»?

Когда поднялся лес рук, Карпыч повернулся к президиуму:

— Ты уж, Курбатов, меня извини, что я в твои функции влез. Я решил, так скорее будет. И оппозиционерам крыть нечем: не «аппаратчик» их зажал, а рабочий с паровоза.

Карпычу хлопали яростно. Он еще постоял, будто вспоминая о чем-то, но, видимо так и не вспомнив, спустился вниз. А Курбатов только удивлялся про себя: «Ай да Карпыч! Ну и наловчился говорить!»

На следующий день был убит Митя Чубуков. Он шел на бюро партийной ячейки и нес с собою всю оппозиционную литературу. Кирпич, сброшенный с крыши, уложил его наповал.

Все было ясно — кто и зачем это сделал. Но чекисты не нашли дома ни Антонова, ни Галкина — оба оказались большими любителями подледной рыбалки и уехали за город. В час убийства их видели на озере десятки людей. Данилов, узнав об этом, покачал головой:

— Ловко они устроили себе алиби, не подкопаясь. Только кто же поверит, что после такой встрепки они вдруг захотели свежей рыбки?

Бека и Ханина, о которых упомянул на пленуме Чубуков, не нашли: успели скрыться. Очевидно, убийство непосредственно было делом их рук.

Для людей молодых три года — срок небольшой. Вот и Курбатов не заметил, как прошли три года. Просто было немного странно, что однажды, проснувшись, он подумал: «А ведь сегодня мне двадцать пять». И странно было встретить на вокзале высокого парня, нет, мужчину, даже, пожалуй, элегантного мужчину, инженера Валентина Эрнестовича Кията.

Зато Яков не удивлялся тому, что Печаткино разрасталось, что там построили два новых завода, объединив их со старым в комбинат, и что упорно говорили о строительстве тракторного гиганта. Не удивлялся оттого, что бывал там каждый месяц — то наскоками, то выбираясь к местным комсомольцам «всерьез и надолго».

За три года выросло и укрепилось в Курбатове и другое — то, что пришло к нему так неожиданно в теплушке возле окна: любовь к Тане. Мало-помалу он начал замечать: что бы он ни делал, куда бы ни ехал, вдруг ловил себя на мысли, что ему хочется, чтобы здесь была Таня, чтобы он мог сказать ей что-нибудь и услышать в ответ ее голос. Когда один из членов губкомла спросил его как-то, почему он так внимательно следит за работой наробраза, Курбатов вспыхнул и сухо ответил, что народное образование должно быть всегда в центре внимания комсомольских организаций. (В наробразе работала Таня, и Курбатов звонил и навещался туда буквально по пустякам.)

Но Таня, казалось, ничего не замечала или не хотела замечать. Он ревновал ее — и это тоже было явным — буквально ко всему: к работе, к маленьким беспризорникам, о которых она постоянно заботилась, к людям и вещам, которые ее окружали.

Наконец Курбатов понял, что дальше так продолжаться не может. Как-то, еле дождавшись конца заседания, он вышел на улицу и решительно пошел к Тане домой.

Она еще не вернулась. Дома были только двое пареньков-беспризорников, над которыми шефствовала Таня. Войдя в коридор (двери были открыты), Курбатов услышал мальчишечьи голоса, доносящиеся из комнаты:

— Чинарик дашь?

— Факи.

— Зря обозвались Таньке...

Он вошел, и ребята, вскочив, начали судорожно делать вид, что они — упаси боже! — не курили, а дым взялся неизвестно откуда.

Курбатов вспомнил, как сам начинал курить, и, расхохотавшись, сел.

— Смотри, рукав прожжешь, — заметил он одному.

Мальчишки, поняв, что ничего страшного им не грозит, заулыбались.

Через пятнадцать минут Курбатов уже знал, что они из Пензы, удрали из «стайки» налетчиков-отымал, что «факи» — значит «ну, конечно», а «обозваться» — «поклясться в чем-либо» (Тане они поклялись не курить). На вопрос, как же они все-таки жили, ребята, переглянувшись, протянули вперед руки и запели высокими, хватающими за сердце голосами:

Ой ты, ноченька, ночка темная,  
Погубила меня, молодца.  
Этой ноченькой, ночью темною,  
Я зарезал родного отца.  
И от ужаса преступления  
Я над телом отцовским рыдал,  
На колени стал, приготовился,  
Но осечку мой маузер дал.  
И теперь, за тюремной решеткою...

Вошла Таня, и ребята замолчали. Курбатов поднялся навстречу ей, еще охваченный острой жалостью к этим двум хлопчикам с исковерканной судьбой и им подобным, что все еще ходят по России с протянутой рукой и заунывной, невесть кем сочиненной песней.

Посмотрев на ребят, он дружески попросил их: — Знаете что, пойдите погуляйте, а? В кино зайдите... Только чур — без этих... чинариков.

Таня молчала.

Когда мальчишки, сделав наивные лица, хотя они великолепно понимали, в чем дело, ушли, Курбатов подошел к Тане.

С минуту он глядел в ее карие, с золотистыми искорками глаза, потом, чувствуя, что бледнеет, сказал

сй, что им пора быть вместе, что так (во всяком случае, ему) жить больше нельзя...

— Ты подумай... Я-то долго думал об этом... Только... побыстрее скажи.

Таня обняла Курбатова и, спрятав у него на груди лицо, тихо засмеялась:

— Глупый... Какой же ты глупый...

Данилов вызвал его в неурочный час — ранним утром. Проходя по длинным коридорам обкома, Курбатов терялся в догадках относительно того, что случилось и почему секретарша, позвонившая по телефону, добавила: «Очень срочно».

Данилов был взволнован. Обычно внешне ровный, спокойный, сейчас он ходил из угла в угол своего кабинета, а увидев Курбатова и не поздоровавшись с ним, сказал как-то торжественно, не дожидаясь, пока тот сядет:

— Слышал, комсомол, новость? Начинаем проводить коллективизацию... Наконец-то. Будем раскулачивать мироедов, создавать колхозы. Чуешь, какое время идет? Ах, какое время! Давно уже все об этом думали... Это революция. Да, да, революция! Всю деревню с головы на ноги поставить, а? Завтра пленум. Лучших большевиков пошлем в деревню. Тебе тоже придется ехать. Так что выбирай район.

— В Няндому,— не раздумывая, сказал Курбатов. В памяти сразу же всплыло искаженное злобой лицо Рубца, ненавидящие, подернутые белесой пеленой глаза...

Немного успокоившись, Данилов познакомил Курбатова с присланными из ЦК документами. Собственно, ничего нового в них не было: о начале коллективизации знали и говорили давно, к ней готовились. И документы ЦК воспринимались сейчас как приказ по армии о наступлении.

Курбатов ликовал. Наконец-то сбывалось то, о чем он всякий раз мечтал, как только речь заходила о деревне.

Когда они переговорили обо всем, Яков, толком не зная, удобно ли начинать сейчас такой разговор, пробормотал:

— У меня, Алексей Николаевич, к вам дело есть... Данилов с трудом оторвался от своих мыслей.

— Какое дело?

— Хочу... хочу посоветоваться с вами. Мне больше не с кем, а вопрос для меня серьезный... Лично для меня...

— Выкладывай.

— Я, Алексей Николаевич... решил жениться...

— Жениться? Это дело серьезное, тут все надо взвесить. Я не думаю, что ты хочешь жениться так, как сейчас иные... Поживут неделю, месяц, и трах-бах — характерами не сошлись! Ты ведь не просто жених, ты молодежный вожак.

— Мы любим друг друга...

— Я, Курбатов, все это к тому говорю, что женятся люди по-разному. Некоторые просто от скуки, от одиночества, оттого, что некому пуговицу пришить...

— Нет. У нас все не так.

— Ну, тогда я на свадьбу приду. Вроде посаженного отца буду. Только предупреди жену, что работа у тебя... трудная и что скоро придется уехать. Быть может, надолго. Вообще сладкой жизни ты ей не обещаешь...

— Да она это знает!

Курбатов ушел от Данилова с ощущением чего-то светлого и большого, что раз и навсегда вошло в его жизнь. А потом он вспомнил: «Коллективизация, революция...» И на душе стало совсем празднично.

На пленуме райкома обсуждался только один вопрос: «О темпах сплошной коллективизации и о ликвидации на ее основе кулачества как класса». В постановлении проектировалось создание в крае колхозов-гигантов, предлагалось обобществить весь крупный и мелкий скот, птицу. На совещании членов бюро обкомов, созванном сразу же после пленума, Курбатов спросил у секретаря краевого комитета партии Баранова:

— Куда будем девать раскулаченных?

Тот ответил быстро и резко:

— Не твое дело о кулаке заботиться! Поедешь колхоз-гигант создавать.

На обратном пути Данилов хмурился, молчал. Уже прощаясь с Курбатовым, сказал:

— Крутенок-то, оказывается, секретарь... Из молодых, да ранний...

И не понять было, сказал он с упреком или с удивлением.

Таня не смогла проводить Курбатова: она отправляла партию колонистов, и прощание было поспешным и немногословным. Курбатов увозил с собой ощущение долгого поцелуя и сказанные шепотом ласковые слова. Сидя в поезде и прислушиваясь к перестуку колес, он поймал себя на том, что думает о Тане уже без прежней тревоги. Он несколько раз повторил про себя непривычные слова — «моя жена» — и начал думать о другом: о том, как удивятся ребята, увидев его в Няндоме.

Но ни Карпыча, ни Алеши Попова, ни Рябова там не было. Лукьянов тоже уехал в глубь округа. Здесь уже с весны начали проводить разъяснительную работу о коллективизации, но сил явно не хватало. Крестьян интересовала внутренняя жизнь колхоза, но мало кто мог рассказать об этом по-настоящему: дело было новое, центральная печать пока молчала. Существовавшая еще с начала двадцатых годов коммуна была маломощной и явно не удовлетворяла местных жителей.

Курбатову удалось установить, что Карпыч уехал в Лемжу. Яков досадовал, не отдавая себе отчета в том, что досадует не потому, что Карпыч вообще уехал, а потому, что уехал именно в Лемжу, куда хотел ехать он сам. Договорившись в окружке о том, что ему дадут лошадей, он торопливо пошел в Дом крестьянина — писать первые письма. Но, оставшись один, лег на кровать и закрыл глаза. В голову снова полезли те мысли, что пришли еще там, на пленуме, и на которые он не мог пока найти ответа.

Да, время коллективизации назрело. Страна не может иметь высокоразвитую промышленность социалистического типа и рядом, в деревне, мелкотоварное хозяйство. Все это так. Верно, что коллективизация должна подкрепляться не только организационно, но и технически. Но многое неясно: новой техники в деревне, например, пока не видели... Неужели придется обходиться лошадьми?

В дверь постучали.

— Войдите! — неохотно крикнул он.

В комнату боком просунулся тощий, низкорослый мужичок. Еще в коридоре он стянул с головы шапку, и Курбатов с удивлением разглядывал лысую голову с детским пушком за ушами. Реденькая рыжая борода укрощала сморщенное лицо.

— Ты уж извини, товарищ полномоченный,— тощим голосом заговорил мужичок. — Вызвал меня председатель Александра Васильич и говорит: «Ты, Пахом, отчаянный и деревню знаешь. Опять же из Лемжи родом, так что я смело тебя к нашему дорогому товарищу полномоченному приставлю, и ты, говорит, в случае чего, помогай ему...»

Курбатова развеселила эта тирада, высказанная единым духом, знакомым и милым северным говорком.

— Что ж, давайте знакомиться... Как вас — Пахом, Пахом...

— Лукичом кличут. Так я, значит, насчет лошадей пришел спросить: как ехать-то изволите — верхами или в тарантасе?

— А ты, дед, как думаешь?

— Да по мне что! Только в тарантасе для коней припасу взять можно.

— Хорошо, поедем в тарантасе.

Курбатов, все еще разглядывая живописного кучера, улыбался. Тот заволновался:

— Вы не сумлевайтесь, меня к вам не зря приставили... У кого хошь спросите, какой я отчаянный...

Вечером Курбатов выехал в Лемжу. Возница, сидя не на облучке, а рядом, плел то про свою службу в Питере денщиком у какого-то полковника, то вдруг начинал уговаривать Курбатова:

— Вы дозвоьте мне Рубца да Бахвалова раскулачить. Я ж у них, стервецов, в работниках ходил, как есть с зари до зари спину гнул. Они у меня, конкретно, всю душу выпили. Я, можно сказать, один раз в жисть себя человеком почувствовал, да и то, когда попом был.

Курбатов спросил недоверчиво:

— Как это — попом?

— Да так,— ответил Пахом, словно сам удивляясь тому, что с ним произошло. — Серость тогда и неграмотность совсем деревню заели... Ну, в бога-то все верили, а церковь не действовала: попа за агитацию против Советской власти в исправдом посадили. Дья-

кон остался, а попа нет. Ну, а я, надо вам сказать, всю воскресную обедню наизусть знал. Жена моя портниха была, много к ней заказчиц ходило, деревенских баб да девок. И проговорилась она, что я-де обедню знаю. После этого бабы и пристали ко мне: «Отслужи да отслужи». Я вначале отбивался от них. «Дуры,— говорю,— конечно, обличем своим я похож на попа и обедню знаю, только ведь в сан-то я не посвящен, да и рясы у меня нет. Что,— говорю,— я в портках навыпуск да в пинжаке служить буду? Смехота ведь!» Но ничего не помогло. «Один-то раз и без посвящения отслужить можно. А ряса тебе и не нужна. Ты в ризе служить будешь». Я опять: «Ну что вы, дуры, как это можно? Риза-то только зад прикроет». — «Ничего, мы тебе юбку черную наденем. Она за рясу и сойдет».

Подошло воскресенье. Расчесал я утром и смазал деревянным маслом волосы (Курбатов еле сдержался, чтобы не фыркнуть, посмотрев на стариковский пушок), примерил юбку. Длинновата была, да ничего, думаю, сойдет. Завязал я ее в узелок и пошел в церковь. Правда, страшновато было, да уж отказаться-то нельзя. Пономарь еще глаз не успел продрать, а уж что ошалелый звонил в колокола на всю округу. Своих-то, деревенских, я не боялся, так ведь к обедне шли и из других сел.

Стал я, значит, готовиться. Напялил юбку, застегнул ее на крючки. Ризу надел. Но хвост от юбки по полу волочится. Из-за этого-то все и приключилось...

Пошел это я, значит, кадить в народ. Дьякон, черт рыжий, и наступил мне на подол. Крючки лопнули, юбка свалилась. Я, правда, не растерялся,— подобрал ее и сунул под ризу. И стало весь мой костюм видать: брюки в полосочку со складочкой. Которые не наши, деревенские, конечно, зашумели и начали обидные для меня слова произносить. «Леший,— говорят,— какой-то, а не поп. Что это он, прощелыга, над леригией глумляется? В церкву ряженным пришел! Из-под ризы-то не поповские портки видно. Какой же это поп?»

Дальше еще хуже получилось. Когда дьякон готовил причастие, увидел, что церковного вина не хватает. Он и бухнул туда чистой водки. Я-то, конечно, этого не знал.

Причащаю я православных христиан и вижу, что бабы морщатся, а детишки кашляют. Подходит под причастие кум мой. Ехидный такой мужичонка. Дал я ему хлебнуть, а он как крикнет. Громко так. А потом и говорит: «Ох и причастие сегодня! Дюже чего-то стала крепкая кровь Христова. Рыжичком бы ее соленым закусить. Уж ты в следующий раз рыжичков вынеси на тарелке». Я и думаю: что за черт? Попробовал сам. И верно — чисто водка! Я шепотом и матюкнул дьякона. А он мне в ответ: «Я еще после обедни с тебя деньги взыщу. Ты бы, прежде чем служить, посмотрел, все ли у нас для обедни есть».

Потом мы с ним поделились выручкой да остаток причастия выпили. На ту выручку я в город и уехал. А жену на земле оставил — жалко совсем-то от земли отрываться. Вы, товарищ хороший, скажите, как с землей у нас будет?

Курбатов объяснил Пахому, что такое коллективизация, и тот одобрительно качал головой. Потом, когда Яков замолчал, повернул к нему узкое морщинистое лицо.

— Верная затея.

Показалась Лемжа.

## 12

Почерневшие от времени избы, серые соломенные крыши, щербатые заборы. Вроде ничто не изменилось за прошедшие годы. Но вдруг на стене старого, бог знает когда выстроенного дома он увидел вывеску: «Изда-читальня», а рядом объявления о собрании в сельсовете, о новой кинокартине...

Пахом, остановив тарантас возле своего дома, пригласил Курбатова в избу. Жена Пахома — такая же маленькая и тщедушная, с белыми поджатыми губами — проводила Якова на сеновал. Но, прежде чем лечь, он еще долго слушал, как легкий ветер шуршал листвой да где-то лениво погромохивал гром. С повети доносились знакомые запахи сена и полевых цветов.

Он заснул сразу же, как лег. А проснулся оттого, что кто-то ходил по сеновалу. Было уже утро, солнце врывалось через широкие щели золотыми полосами,

и в них плясали пылинки. «Проспал», — тоскливо отметил Курбатов.

...Двое мужиков держали под руки Пахома. Он со стоном сел на пол и начал часто икать.

— Что с тобой, Лукич?

За него ответил один из мужиков:

— Бабы его здорово потрепали...

— Как это потрепали? За что?

— Да вот так, — неожиданно оживился Пахом. — Смотрю утром — народ в сельсовет идет, ну и я туда.

— Ты помолчи, — оборвал его мужик. — Может, тебе говорить сейчас вредно. Пришел, значит, Пахом в сельсовет, а там собрание. Бабы собрались... Докладчик — Иван Карпыч — пришел, а председателя Совета все нет. Ну, Пахом это прямо к столу прется. Чего-то пошептались они с докладчиком, а потом Пахом встает и говорит: «Как есть я, — говорит, — вместе с товарищем полномоченным приехал, значит, он перепоручил мне это собрание». Тут он слово докладчику предоставил. Сказал это свою речь докладчик и сел на место. Опять встает Пахом: «А теперь, гражданочки, мы дебаты о новой колхозной жизни устроим». Бабы наши, конечно, городских-то слов не понимают — мало ли что на дебаты подумали, ну, известно, загалдели все сразу, закричали на Пахома. Тут он разъяснять им стал. «Дебаты, — говорит, — гражданки, это все равно что разговор; кто, — говорит, — хочет из вас к новой жизни притолкнуться?» Тут Соколиха, язвенная баба, подбежала к столу, подняла сзади подол да говорит Пахому: «На, дескать, притолкнись». А Пахом-то возьми и тресни ее кнутовищем по этому месту. Вот и ошалели бабы...

Курбатов, еле сдерживая смех, подошел к Пахому. Но тот, побряхтывая, уже поднимался сам.

— Ничего... Отбили мужики-то... Только я вам, товарищ полномоченный, доложу: неосознанный они народ, бабы! Никаких выгод себе не понимают, пока по голому месту кнутом не распишешься.

— Попробуем без кнута...

Сразу уйти в деревню Курбатову не удалось: жена Пахома потащила его в избу пить чай. Чтобы хоть что-нибудь сказать, он спросил:

— Где сейчас Егор Русанов? И Ясин?

— Да вот Егорку-то вчера окулачили. Главный из Шяндомы и окулачил.

— Карпыч? — удивился Курбатов.

— Нет. Главный-то там Савин. Может, знаете, председатель ЕПО у нас был, Евлаха? — Курбатов вспомнил клюквенные глазки сюсюкающего человека. — Так вот — его сынок. Сам-то Евлаха после Рубца вторым лавочником в Лемже стал... Да куда вы?..

Улица была пуста, и только в конце ее толпился народ. Еще издали Курбатов увидел шалаш напротив русановского дома, а возле шалаша плачущих женщин и детей. Он не выдержал и побежал.

От толпы отделились двое: в одном из них Курбатов сразу узнал Карпыча. Другой — высокий — обогнал Ивана и пошел навстречу Курбатову с радушной улыбкой.

— А мы вас будить не хотели. Савин, из окружкама...

Карпыч засопел, облапил Якова и, тиснув пару раз, отпустил, почему-то краснея.

Савин заторопил их:

— Идемте, идемте, дел невпроворот...

Курбатов подошел к шалашу. Перед входом, бесильно опустив руки, стояла жена Русанова — Устя. Двое ребят орали, вцепившись в ее юбку.

— Где Егор?

— Там, — ответила женщина, и Курбатов понял, что «там» — это в шалаше.

Егор сидел на деревянном чурбане, спиной к входу, и плечи у него мелко дрожали. Курбатову редко приходилось видеть, как плачут мужчины, и ему стало жутко.

— Как же это... — выдохнул он. — А, Егор? Как это все?

Русанов в изумлении оглянулся:

— Это ты, Яша? Вот хорошо-то... Ах ты господи...

— Рассказывай!

— Чего ж рассказывать-то?.. Прошлый год, в страду, держал батрачку, было это. А как не держать? Раненый я. Устю в город свез, в больницу... А тут косить, жать надо... Детишков двое у меня — не котята, не кинешь. Вот за то и в кулаки попал. Ты спроси у женщины-то. Как родная у меня жила... Все пополам...

Курбатов вышел из шалаша.

Перейдя улицу, он толкнул дверь в палисадник и вошел в дом. Савин побежал за ним и принялся объяснять, что здесь будет правление колхоза.

— Хорошо придумано?

— Вы кто такой? — грубо спросил его Курбатов.

— Я? — удивился Савин. — Как это «кто»? Председатель округа! Мандат есть, могу показать.

— Сволочь ты, — тихо сказал Курбатов. — Понял? Сволочь.

— Я то же самое ему говорил, — вмешался Карпыч. — Покрепче только. Письмо в окружном уже послал.

Курбатов велел позвать в дом Устю с детьми. Ребята шли притихшие, испуганные.

— Наследили-то как, господи, — всхлипнула женщина. И прикрикнула на детей: — Да отцепитесь вы от меня, не видите, прибираться надо!

Спускаясь с крыльца, Курбатов думал, что это только начало и что будет трудно, очень трудно...

Русанов дневал и ночевал в сельсовете, проводил вместе с Карпычем собрания, ходил по домам, кого-то уговаривал, кому-то доказывал, с кем-то ссорился.

Пора было приниматься и за Рубца и за Бахвалова: собрание бедноты решило раскулачить их в первую очередь. Ни того, ни другого Курбатов еще не видел: Бахвалов жил на хуторе, а Рубец не только сам на улицу не выходил, но и запретил показываться там кому-либо из семьи.

Настроение у Якова упало, когда нарочный из Няномы доставил ему письмо Данилова. Слова были беспощадные:

«...Тебя послали в округ, а не в Лемжу. Учти, что в деревнях, как сообщает Лукьянов, режут скот. Обрати первое внимание на это, а уж потом на раскулачивание, если не можешь обращать внимание на то и другое одновременно. Громить же кулака должны все, а не ты один — тоже учти. Если всем миром на него не навалиться — значит, загубить дело. А ты единолично решаешь вопросы. Мне Савин доложил. Проведи собрание бедноты, пусть оно решит — следовало раскулачивать Русанова или нет. В следующий раз

за самоуправство не только снимем, но и обсудим на бюро... Каждую твою ошибку будем рассматривать круто. Сейчас любая ошибка — нож острый».

Курбатов понял, что надо уезжать. Но тем не менее решил остаться еще на один день — завтра должны были раскулачивать Рубца.

...Утро выдалось на редкость ясное: высоко в небе, как огромные рыбины в тихой речной заводи, медленно плыли вытянутые облака, а невидимое еще солнце уже переливалось в них, высвечивая края розовым и золотистым.

В группу, которая шла к дому Рубца, втерся и Пахом. Он потребовал у Курбатова, чтобы ему выдали наган, потому что хоть он, Пахом, и отчаянный, но не резонно лезть с колом против «берданов» Рубцова, а у того «берданов» — три. Нагана ему Курбатов не дал, но посоветовал:

— Ты бы не ходил, Лукич. Нам с тобой вечером ехать надо, а вдруг тебе остатки бороды выдерут.

Карпыч и Курбатов шли сзади. Оба молчали. Первым заговорил Иван:

— Вот иду и волнуюсь...

— Тебе волноваться нельзя. Я уеду — ты здесь один останешься. Ошибку сделаешь — партийным судом судить будут.

— Потому волнуюсь, что не знаю, как вести себя буду. Ты, в случае чего, придержи меня... С Рубцом-то у меня старые счеты.

Курбатов рассмеялся:

— Да ты попроси его угостить тебя... из твоей «братины».

Видимо, их уже ждали. Тимоха в одной майке колот на дворе поленья, поигрывая тяжелым топором. Когда Пахом, осторожно приоткрыв калитку, вошел в палисадник, Тимоха, яростно рубанув полено, бросил колун и поднялся в дом.

Вместе со всеми Курбатов вошел в избу и вздрогнул: под образами светила лампада, тут же, в мягком кресле, обтянутом малиновым бархатом, сидел Рубец, недавно выпущенный из тюрьмы, где его держали за нападение на Курбатова. Сдвинув очки на нос, он читал учебник Коваленко по политграмоте.

— Раскулачивать пришли? — спросил спокойно, не вставая. — Что ж, власть теперь ваша и сила ваша, открыто грабить можно.

Один из бедняков, Назар Новый, ответил ему так же спокойно:

— А мы не грабить пришли, а выполнять постановление собрания бедноты.

— Кого-о? — насмешливо протянул Рубец. — Бедноты, говоришь? Это голи-то перекатной? Если бы власть вам таких прав не дала да вот этих двух (он кивнул на Курбатова и Карпыча) не было, так вы бы ко мне еще с поклоном пришли. А теперь, если я сопротивляться буду, вы еще и милиционера призовете... Силы неравные! Ну что ж, приступайте. С богом, как говорится...

И он широко перекрестился на образа.

Бедняки чувствовали себя смущенно — топтались, оглядывая сундуки, пузатый комод, шкаф... Пришлось вмешаться Карпычу. Вытащив из кармана замусоленную тетрадку и огрызок карандаша, он басовито сказал:

— Начнем с описи, благо хозяин разрешает.

Тимоха безучастно сидел на лавке и, наклонив голову, перебирал лады своей гармошки. Казалось, его ничто на свете не интересовало, кроме этих звуков, льющихся из-под пальцев. И когда Назар, подойдя к нему, положил на гармошку руку, Тимоха лениво поднялся и, развернувшись, страшным ударом сбил Назара с ног.

— Дурак, — равнодушно заметил из своего кресла отец.

Он даже не пошевелился, когда Тимохе скрутили руки и вывели его из избы.

Вечером в сельсовете Курбатову дали сводку переписи скота в Лемже. Оказалось, что за несколько дней было забито больше половины коров, свиней и овец. Карпыч, заглядывая в бумагу через плечо Курбатова, сопел: ему ведь тут оставаться! А много ли сделаешь, когда скот бьют направо и налево, лишь бы не вести в общий хлев. «Плохо разъяснили людям, — с горечью подумал Курбатов. — Не поняли нас...»

И хотя народ в колхоз все же шел, хотя на столе у Русанова уже лежала стопка заявлений, этого было

мало: крайком требовал, чтобы в колхозы были записаны все, кроме кулаков, разумеется.

По дороге Курбатов вытащил последний номер краевой газеты, который еще не успел посмотреть, и увидел большой, через всю полосу заголовок: «Превратим Лемжинский район в единый колхоз с восьмидесятитысячным населением!» Бросилась в глаза фотография — крестьяне толпятся у стола, протягивая то ли председателю сельсовета, то ли уполномоченному заявления о приеме в колхоз. Тут же была статья без подписи, словно автор постеснялся поставить свое имя. Курбатов сунул газету в карман. Сюда бы этого писаку! Посмотрел бы он, как «легко уговорить, убедить и привлечь массы, которые уже забыли привычки одиночек и душой давно стремятся к коллективизму». Тут пуд соли надо съесть, чтобы уговорить... А пока этот пуд съешь, пройдут установленные крайкомом сроки.

В одной из деревень Курбатов остановил свой тарантас возле толпы кричащих и плачущих женщин. Несколько сразу же подскочили к нему и наперебой стали что-то кричать.

— Да не все сразу! По очереди!

Оказалось, что здесь, в селе с древним и непонятным названием Челмохта, обобществили всех коров. Вот бабы и дежурят с утра около хлева: каждая проверяет, как за ее коровой ухаживают, вовремя ли доят. Дояркам, конечно, житья нет. Ругают их почем зря — то они корову плохо накормили, то водой обнесли, то сильно за дойки дергают...

Курбатов вылез из тарантаса, и бабы, догадываясь приблизительно, кто он такой и зачем пожаловал, начали поверять ему свои обиды:

— Неверно это, последнюю корову отбирать! У меня пятеро детишков... Не знаешь, чем кормить эту ораву...

— Или птица... Помещениев у нас для нее нет. Разбегаются куры по домам и несутся. Для колхоза — убыток один. И с кочетами не знаем, что делать. Передрались, в кровище все... Намедни Домнин кочет выбил глаз Маришкиному. Так сами бабы тоже сцепились...

Постепенно вокруг Курбатова собралось человек пятьдесят: молва о том, что приехал какой-то уполномоченный, быстро облетела село.

Курбатов отвечал на вопросы:

— Привыкли вы к своему: моя корова, моя свинья, мой кочет... К клочку земли привыкли. Знаю, трудно от таких привычек отказываться. А надо. Нельзя ведь, чтобы крестьянские хозяйства оставались мелкими, единоличными. Погибнем тогда все. А так — город даст вам технику, трактора придут...

— Соловья баснями не кормят, — хмыкнул кто-то.

— А это не басни, — спокойно возразил Курбатов. — Вот я, например, сам из рабочих, родом из Печаткина. Слышали такой городишко? Так вот, в этом городишке сейчас тракторный завод строится...

— Улита едет...

— ...и строится быстро. Через год он уже даст первые машины — вот те и басни.

— Выходит, обязательно нужно записываться в колхоз? — детским голосом спросила старая бабка, еле стоявшая на ногах.

Курбатов посмотрел на нее и расхохотался. Смеялся он заразительно, звонко. Какая-то девушка довольно громко сказала: «Складный мужик, а? Такого бы захоронить...» И тогда засмеялись все: то ли этому замечанию, то ли тому, что так хорошо смеялся веселый «полномоченный». А Курбатов подумал внезапно, что никогда не надо унывать. С улыбкой должен жить на земле человек!

Однако, хотя он и старался развеселить себя и окружающих, тревога не отпускала его.

Курбатов уставал до такой степени, что даже не заметил, как подкралась осень, встали в полях желтые скирды, бурым листом покрылась ольха.

В этот вечер, сухой и ясный, когда тарантас с Пахомом на облучке тащился обратно в Лемжу, он какими-то новыми глазами смотрел на мир. Можно было спокойно и тихо любоваться и лесом и дорогой.

Когда из придорожных кустов раздался выстрел и Пахом, тихо охнув, сполз под колеса, лошадь понесла. Второго и третьего выстрелов Курбатов не слышал: что-то тупое не больно ткнуло его в бок. Повернулось и опрокинулось небо, потускнело солнце, и Яков провалился в теплую оранжевую муть.

Так и влетел тарантас в село — без возницы, с полумертвым седоком, лежавшим в луже крови.

Данилова не было в городе, и Курбатову удалось настоять, чтобы его раньше времени выписали из больницы. Два дня он просидел дома, тоскуя без Тани (она возвращалась поздним вечером). Ходить еще было больно, но на третий день Яков вышел из дома. Каждый шаг отзывался в простреленном боку, но Яков все-таки шел, прислушиваясь, как скрипит под ногами снег, радуясь, что морозный воздух пощипывает лицо. Он словно впервые видел все вокруг и глядел на все это с какой-то ребячьей восторженностью.

Сначала он заглянул в облкомол. Здесь было пусто, ребята разъехались по деревням: недавно было проведено новое районирование на области и районы. Управделами, необычайно серьезная девушка, встала, когда он вошел, и, будто с ним ничего особенного не произошло, будто он не был здесь всего день или два, доложила о том, что сегодня должен быть областной актив и ему надо на нем присутствовать. «С корабля на бал», — рассмеялся Курбатов. Управделами глядела на него по-прежнему строго, без улыбки, а ему хотелось, чтобы все вокруг улыбались.

Впрочем, он знал, что особых улыбок не будет, особенно на активе. В крае — об этом сурово писала «Правда» — был допущен в первые месяцы коллективизации левацкий загиб.

Курбатов, еще в больнице несколько раз подряд прочитавший газету, почувствовал, что все это в полной мере касается и его. То, о чем он смутно догадывался, не в состоянии осмыслить, встало теперь на свое место. Надо было называть вещи своими именами, и он назвал: искривление линии партии. Он не испугался этих слов, не пытался заменить их какими-нибудь другими, более мягкими. В самом деле, разве не он одобрил действия коллективизаторов в той же Челмохте и сам писал об этом в обком? Не он уговаривал женщин, не поняв справедливости многих их требований? Разве не права была та, что говорила о последней корове? И как он, Яков Курбатов, сам хлебнувший шилом патоки, мог спокойно слушать ее?.. Неужели только потому, что на все это была директива крайкома, директива Баранова?

Пришедшие на актив подходили к Курбатову, спрашивали, как здоровье. А Лукьянов, сев рядом, шепнул: — Не надо было являться. Разнервничаешься. Сегодня тут черт знает что будет... Слышал — Баранов приехал? А он...

Курбатов кивнул: «Знаю».

Прошлая (и пока единственная) встреча с секретарем крайкома произвела на него удручающее впечатление. Это впечатление не исчезло, когда актив начался, и Баранов, выкидывая вперед кулаки, начал ругать райкомы. Слова были резкие, хлесткие, во многом справедливые, но Баранов даже не обмолвился о вине крайкома. Лукьянов снова шепнул: «Чуешь, куда гнет, а? Чуешь? «Местные работники»...»

Баранов закончил свое выступление так:

— Товарищи! Сущность большевистской критики и самокритики заключается в том, что если нашелся дурак, то и назови его дураком, если появился осел, то и назови его ослом. Я и призываю вас сегодня выступить с такой критикой, невзирая на лица.

Как ни уговаривал Лукьянов Курбатова, тот не смог удержаться: послал в президиум записку. И когда ему дали слово, когда он поднялся на трибуну, Баранов громко сказал:

— А, герой! Расскажи, расскажи активу, как ты загибал в районе: всю птицу в Челмохте в колхоз записал!

— И расскажу, — пожал плечами Курбатов. Он подождал, пока прошла вспыхнувшая в боку боль, и начал тихо, чтобы не сорваться: — Я признаю, что мы в районах действительно оказались «ослами», как об этом только что сказал секретарь крайкома. Но сегодня я хочу, чтобы все подумали о том, почему мы оказались ими. Мы «ослами» оказались потому, что выполняли директивы тех людей, которых секретарь крайкома почему-то не назвал.

Вынув из кармана решение пленума крайкома, где были и «колхозы-гиганты», и «сжатые сроки», и «поголовный охват», он прочитал его вслух и, сунув листок обратно, заметил:

— Вот, товарищи, и судите, кто в этом деле был «дурак» и кто «осел».

В зале послышались смех, аплодисменты. Поблудневший Баранов крикнул:

— Что же, по-твоему, крайком «дурак»?

— А это актив разберется, — невозмутимо ответил Курбатов.

— Ах ты молокосос! — стукнул ладонью по столу секретарь крайкома.

Курбатов снова пожал плечами:

— Да, возможно, я еще молокосос, но сопли вы мне своевременно не вытерли, как это делает каждая мать. А потом, «молокосос» — это еще не доказательство. Не по годам бьют, а по ребрам, товарищ Баранов!

В зале снова вспыхнул смех: Баранова не любили.

На другой день Курбатова вызвали на бюро обкома (Данилов еще не приехал). Яков, чувствуя, что дело принимает крутой оборот — на бюро присутствовал Баранов, — решил держаться до последнего. Но о том, что произойдет, он не мог даже предполагать. Усмехаясь, Баранов сказал ему:

— Сегодня мы тебе и по годам и по ребрам как следует дадим. — И, обращаясь к собравшимся, закончил: — Я предлагаю немедленно снять Курбатова с работы и направить его в распоряжение крайкома. Его надо научить уважать старших, уважать партию.

Курбатов спокойно возразил:

— Вы же сами, товарищ Баранов, сказали активу о сущности большевистской критики и самокритики. А что же получается? Критиковать ни вас, ни крайком нельзя. Меня всю жизнь учили уважать старших. И я уважаю старших, которые правильно понимают и проводят линию партии. То, что вы хотите снять меня с руководящей должности, я приветствую: трудно мне. А поехать — я никуда не поеду. Если бы это было действительно необходимо для партии, то я бы хоть на Луну полетел. Но это только месть с вашей стороны за критику. Я прошу или откомандировать меня в распоряжение Цекамола, или отпустить работать на производство слесарем.

Баранов хмыкнул.

— Видишь, ерш какой! Ну, да из ершей уха хорошая бывает.

— Я для уха не гожусь. Я и оттуда критиковать буду.

— Ладно, черт с тобой, иди работать на производство, раз сам желание изъявил. Может, потом из тебя еще толк и выйдет.

Члены бюро зашумели, но Баранов, постучав карандашом по столу, тихо спросил:

— Что такое? Дисциплина, товарищи, дисциплина... Данилов, кажется, сам вам писал об освобождении Курбатова!

Яков вспыхнул.

Директор машиностроительного завода Родин, откинувшись на спинку стула, сказал, в упор глядя на Баранова:

— Я полагаю, что вопрос еще не решен. Мы не голосовали. А во-вторых, отпустит ли Курбатова ЦК комсомола?

— Что же вы предлагаете?

— Я против скоропалительности и за коллегиальность, — отрезал Родин.

Тогда секретарь крайкома встал. Он прошел до дверей, от них — к окну и, повернувшись к членам бюро, заложив руки за спину и слегка расставив ноги, жестко произнес:

— Отпустит ли ЦК — это моя забота, а не ваша. Предложение об освобождении Курбатова прошу голосовать в порядке партийной дисциплины.

Родин и еще двое членов бюро рук не подняли. Курбатов, встретившись с ледяным взглядом Баранова, встал и пошел к дверям. Его пошатнуло. Родин подскочил к нему, крепко взял под руку. Так они и вышли на улицу — вдвоем.

Данилов явился к ним неожиданно, поздней ночью. И Таня, запахивая халатик на большом животе, металась по комнате, готовя хоть какой-нибудь ужин.

— Ты меня прости, — басил Данилов, устраиваясь поудобней на шатком стуле. — Раньше никак не мог. Ай да Таня — скоро, значит, мамой будешь? Не красней, дело святое. Ну, а ты как, все переживаешь? Не надо...

Курбатов смотрел на секретаря обкома, на его темное от усталости лицо и не верил, что этот человек, к которому он привязан всей душой, за которым готов идти в огонь и в воду, — что этот человек сам писал членам бюро о его снятии.

Лукавить было незачем, и Курбатов спросил, правду ли говорил Баранов.

Данилов, отпивая мелкими глотками горячий чай, кивнул:

— В общем — правду. Только ведь и правду по-своему повернуть можно. Баранов и повернул. Я писал, чтобы тебе пока нашли другую, менее утомительную работу. В дальнейшем я рассчитывал перевести тебя в партийный аппарат. Но Баранов рассудил иначе...

— Значит, личные счета? Личные счета, в результате которых работник может быть отстранен?

— Значит, так...

— Но ведь это... — Курбатов задохнулся.

Секретарь обкома отодвинул стакан и повернулся к Курбатову так, что стул жалобно скрипнул под его грузным телом.

— Ты хочешь сказать, что это нарушение ленинских принципов? Да, так оно и было в этом случае. И не только в этом. Я сегодня приехал с пленума крайкома. Видел бы ты, как вел себя Баранов! А вокруг него либо запуганные, либо подхалимы. Так что сам даже морщится. Он, конечно, работник энергичный, но...

— Но спорить с ним нельзя?

— Почему же, можно. Только вот ты поспорил и увидел, что из этого получается. Кстати, Родин уже снят с работы как несправившийся, снят решением крайкома, а вернее, одного Баранова. А все потому, что за тебя заступился. Я вот, — Данилов грустно усмехнулся, — тоже с ним поспорил, обещал поднять этот вопрос в ЦК. Знаешь, что он мне ответил? «Ты, — говорит, — не ерепешься. Ты про старые методы руководства забудь. Сейчас наступает такое время, когда нам нужна одна сила — сила авторитета».

Данилов замолчал. Потом спросил:

— Как думаешь жить?

И Курбатов понял, что вопрос задан неспроста, что секретарь обкома уже сам подумал над тем, как будет жить и что будет делать Яков Курбатов.

— Я все-таки слесарь. Плохой ли, хороший... Уеду в Печаткино.

— Значит, в кусты? Или фордыбачишься? Мол, сняли — так я вообще больше пальцем о палец не ударю. Для кого не ударишь? Для партии?

В голосе Данилова появились знакомые Курбатову твердые нотки — первое свидетельство того, что он недоволен. Курбатов тихо спросил:

— А вы думаете, мне Баранов даст работать? Нет, не даст.

— Пока что не на одном Баранове свет клином сошелся. Как выздоровеешь — поедешь действительно в Печаткино. Обком будет рекомендовать тебя секретарем парткома на комбинате. Думаю, коммунисты тебя выберут: ты вырос у них.

Данилов встал и начал ходить туда-сюда — давнишняя привычка в минуты раздумий. Комната была мала, и он едва поворачивался между шкафом, кроватью и диванчиком.

— Будет трудно... Чулин постарел, характер у него переменялся. Он считает, что ему на комбинате дано право осуществлять и свои административные и заодно партийные функции как старому большевику. Так сказать, один в двух ипостасях. Думаю, и нынешний секретарь парткома будет не очень рад тебе. Конечно, Булгаков слова не скажет, но червячок его замутит: «Мальчишку прислали!»

Данилов все ходил, все говорил. И Курбатов, слушая его, чувствовал, что все это — его собственные мысли, желания и что он действительно мальчишка еще, раз мог так «фордыбачиться»: слесарем, слесарем...

— ...Но главное не в этом. Печаткино — уже город. Город, который растет. И производство растет. На комбинате же производительность низкая, планы не выполняются... Короче, не на курорт едешь...

Он ушел через час, оставив у Курбатова ощущение необычайной легкости и уверенности в том, что трудности в конце концов — вещь преодолимая, а главное то, что люди думают о нем, помогают, как думал о них и помогал им он сам...

Прощаясь и пожимая Курбатову руку, Данилов вдруг задумчиво покачал головой и сказал то ли удивленно, то ли радостно:

— Комса, комса, как ты выросла!

*Петр Григорьевич Куракин*

**Яков  
Курбатов**

Редактор М. И. Белоусова  
Художник А. С. Ковалев  
Художник-редактор О. И. Маслаков  
Технический редактор Л. П. Никитина  
Корректор Т. В. Мельникова

Сдано в набор 23/XI 1971 г. Подписано к печати 3/II 1972 г. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага № 1. Усл. печ. л. 12,81. Уч.-изд. л. 12,71. Тираж 50 000 экз.  
М-37004. Заказ № 494.

Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59.  
Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата,  
Фонтанка, 57.

Цена 41 коп.